

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Русская литература

## 6 класс

### Книга для чтения

*Пособие для учащихся  
учреждений общего среднего образования  
с белорусским и русским языками обучения*

**В 2 частях**

**Часть 2**

Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

*Второе издание*



Минск «Сэр-Вит» 2013

УДК 811.161.1.09(075.3=161.3=161.1)  
ББК 83.3(2Рос=Рус)я721  
Р89

Серия основана в 2002 году

Составитель *О. И. Волосюк*

Рецензенты:

методическое объединение учителей гуманитарного цикла государственного учреждения образования «Гимназия № 2 г. Минска» (учитель русского языка и литературы высшей категории *Т. Ф. Василевич*);  
начальник отдела организационно-методического обеспечения качества образования учебно-методического учреждения «Минский государственный областной учебно-методический кабинет» *З. Н. Булахова*

**Р89**     **Русская литература : 6-й кл. : книга для чтения : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 2 / сост. О.И. Волосюк. — 2-е изд. — Минск : Сэр-Вит, 2011. — 144 с. — (Школьная программа).**

ISBN 978-985-419-758-6.

Книга для чтения составлена в соответствии с требованиями учебной программы по русской литературе для 6 класса, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.

Пособие содержит тексты произведений, рекомендованных для чтения и обсуждения в классе, а также для дополнительного чтения.

УДК 811.161.1.09(075.3=161.3=161.1)  
ББК 83.3(2Рос=Рус)я721

ISBN 978-985-419-758-6 (ч. 2)  
ISBN 978-985-419-757-9

© Волосюк О. И., составление, 2011  
© Волосюк О. И., составление, 2013  
© Оформление. ООО «Сэр-Вит», 2013

## Повесть как эпический жанр

**Максим Горький**

(1868–1936)

Максим Горький – это псевдоним (литературное имя) Алексея Максимовича Пешкова.

В автобиографической повести «Детство» рассказывается о мальчишке-сироте Алеше Пешкове, о первых его глубоких впечатлениях, чаще горестных и тяжелых, иногда светлых и радостных.

### **Детство**

*(Избранные главы)*

#### **I**

...Пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая...

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она – темная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а

двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг ново, все меняется; зеленые горы – как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

– Ась? – встрепенется она. – А я будто задремала да сон вижу.

– А о чем плачешь?

– Это, милый, от радости да от старости, – говорит она, улыбаясь. – Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

– Еще!

– А еще вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы – бородатые, ласковые мужики, – слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

– А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

– Айда ужинать с нами!..

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, Богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто! И просила мать, чуть не плача:

– Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуρο улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, оцепившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

– Папаша! – густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро глядя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

– Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх, вы-и...

...Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный, гладковолосый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой кры-

шей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьев металась ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

– Сандал – фуксин – купорос...

## II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, – слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил – да и по сей день живет – простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать прие-

хала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому – за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:

– По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

– Отдай им все, отец, – спокойней тебе будет, отдай!

– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиной.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгенья выгоняла из



кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

– Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

– Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

– Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясаяще воя:

– Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

– Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

– Полно, Бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью... И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же, – маленький против нее, – ткнулся лицом в плечо ей:

– Надо, видно, делиться, мать...

– Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

– Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой – езуит, а Яшка – фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с поюями.

Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

– Кто тебя посадил на печь? Мать?

– Я сам.

– Врешь.

– Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

– Весь в отца! Пошел вон... Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

– Эх, вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство...

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головой и просила тихонько, почти шепотом:

– Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...» И если я спрашивал: «Что такое – яко же?» – она, пугливо оглянувшись, советовала:

– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш» ... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

– «Яков же», «я в коже» ...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

– Нет, ты говори просто: «яко же» ... Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил:

– Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

– У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

– А коли так, – высечь надо! И снова спросил меня:

– Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

– Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

– Это почему же?

– Говорил, битьем не выучишь.

– Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости Господи! – сердито и четко проговорил дед. Меня обидели его слова. Он заметил это.

– Ты что губы надул? Ишь ты... И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

– А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

– Как это пороть? – спросил я. Все засмеялись, а дед сказал:

– Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть – значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить – одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, – это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щёлкали своих то по лбу, то по затылку, – дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

– Больно?

И всегда они храбро отвечали:

– Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетне-

му племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

– Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

– Это Сашка Яковов устроил, – вдруг сказал дядя Михаил.

– Врешь! – крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал:

– Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй, тронь... И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, – тише.

Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная!

Они не возражали. Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

– Белое всего легче красится, уж я знаю! – сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной, лохматой головой, сказал мне:

– Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не на-ябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всеобщей, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывал один с другим и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа ради...



Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопчённым потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

– Лексей, – позвал дед, – иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот так больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука – и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть...  
Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтырь читая, дед говорил:

– Донос – не оправданье! Доносчику – первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня за руки, закричав:

– Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

– Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

– Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

– Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и

большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

– Ты что не отняла его, а?

– Испугалась я.

– Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Стыдись!

– Отстаньте, мамаша: тошно мне...

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

– Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

– Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

– Кровь ты моя, сердце мое, – шептала бабушка. Я запомнил: мать – не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дому, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дому. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

– Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

– Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

– Я – тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, – в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугуна, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому

рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого господина Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой поразложим, бывалоче, костры – кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе – как пыль по ветру; да того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

– Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

– Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

– Ты глянь-ка, – сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, – вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запрет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал – переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, мочёный! А все-таки тебе меньше попало, – видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

– Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски-простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно-просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого! Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, – киселем лежи! И не надуйся, дыши вовсю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганок. – Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

– За что?

– Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурочка.

### III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место; дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обернут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, заоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:



– Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя!.. Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили, — целая улица народу, восемнадцать-то домов!..

Сидя на краю постели в одной рубаше, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестья снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

– ...Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особенно, — совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, ее домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив – говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; тропливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михайлов; он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья...

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в

угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

– Эх, кабы голос мне, – пел бы я как, Господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

– Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучно и ухарски кричал:

– Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаюсь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

– Режь поперек! – кричал дядя Яков, притопывая. И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,  
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородой плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало, он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, инд, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул.

нул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,  
Плела девка кружева,  
Истомилася работой,  
– Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнувшись в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, – и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности! А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни  
До полуночи плясала.  
Ушла с улицы последней,  
Жаль, – праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!..

Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

– Нет, это все без толку! Тебе – не легче, а мне – гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

– Ты ведь не хотел?

– Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то, незаметно...

Вскоре он погиб...

#### IV

...Однажды дед, распахнув дверь в комнату, сильным голосом сказал:

– Ну, мать, посетил нас Господь, – горим!

– Да что ты! – крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

– Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! – строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

– И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; бо-сой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

– Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

– Цыц, пёс, – сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрит-ся кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздя-ми. По темным доскам сухой крыши, быстро опуты-вая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изу-крашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушен-ный криком деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попойой, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

– Купорос, дураки! Взорвет купорос...



– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала... Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведрную бутылку купоросного масла.

– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, – горю, али не видно?..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям говорила:

– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше все дотла сторит и ваше займется! Рубите крышу, сено – в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, берите, дружней, – Бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

– Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

– А ты не бойся! – басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. – Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дому закутаных, глухо мычавших детей и закричала:

– Василий Васильич, Лексея нет...

– Пошла, пошла! – ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

– Уйди! — крикнула она. – Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

– Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

– Я кому говорю! Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной

кучей людей уже не видно огня, – только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

– Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

– Мать?

– Ой?

– Обожглась?

– Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хоряка, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

– Умылся бы, – сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

– Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

– На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

– Григория рассчитать надо, – это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

– Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх, вы-и...

## V

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя...

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребяташки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня.

– Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?

– Буки.

– Попал! Это?

– Веди.

– Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?

– Добро.

– Попал! Это?

– Глаголь.

– Верно! А это?

– Аз. Вступилась бабушка.

– Лежал бы ты, отец, смиренно...

– Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печёным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Григория, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это сместило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мямлил книгу и хрипел:

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

– Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

– Да будет вам надрываться-то!

Дед объяснил мне дружески:

– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказания, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

– Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

– Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

– Хитер ты али простодушен, а?

– Не знаю...

– Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность – та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

## VIII

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков – маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, – и невеселый, длинный татарин Ва-

лей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна – в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

– Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

– Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой

лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармацевтом.

— Чего он делает? — спросил я бабушку.

Она строго откликнулась:

— Не твое дело; молчи знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

— Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

— Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он



сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

– Ты – откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел на кухне за столом около него! Я ответил:

– Здешний внук...

– Ага, да, – сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счел нужным пояснить ему:

– Я не Каширин, а – Пешков...

– Пешков? – неверно повторил он. – Хорошее дело. Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

– Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки, – в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

– Скверно пахнет?

– Да!

– То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» – подумалось мне, и я строго сказал:

– Если скверно, так уж – не хорошо!

– Ну? – воскликнул он, подмигивая. – Это, брат, не всегда, однако. А ты в бабки играешь?

– В козны?

- В козны, да?
- Играю.
- Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет!
- Хочу!
- Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

– Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, – хорошо?

Это меня презрительно обидело.

– Я и так не приду никогда... Обиженный, я ушел в сад.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, бабушка устроила... вечер. Сыпался и хлюпал неумемный осенний дождь, выл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, – в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклоняясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

– Мне сверху надо говорить, – сверху-то лучше!

Я поместился у ног ее, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирна-отшельника; мирно лились сочные, веские слова:

А Иван-то воин стоит около,  
Меч его давно в пыль рассыпался,  
Кованы доспехи съела ржавчина,  
Добрая одежда поистлела вся,  
Зиму и лето гол стоит Иван,  
Зной его сушит – не высушит,  
Гнус ему кровь точит – не выточит,  
Волки, медведи не трогают,  
Вьюги да морозы не для него.  
Сам-то он не в силе с места двинуться,  
Ни руки поднять и ни слова сказать, –  
Это, вишь, ему в наказанье дано:  
Злого бы приказу не слушался,  
За чужую совесть не прятался!..

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

– Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

– Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это – страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет...

– Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю эдакого...

– Нет, именно это! – Это – страшно русское, – возбужденно вскрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукой, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

– Нельзя жить чужою совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжело вздыхала там.

Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила:

– Рассердился будто?

– Не, – ответил дядя Петр. – Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогрывать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

– Господа все такие – капризники!

Валей угрюмо буркнул:

– Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Петр тянул:

– До слез дошел. Видно: бывало, щука клевала, а ноне и плотва – едва...

Стало скучно, какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, – так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихий, измятый, явно сконфуженный.

– Вчера я шумел, – сказал он бабушке виновато, словно маленький. – Вы – не сердитесь?

– На что же?

– А вот, что я вмешался, говорил?

– Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно – тихо слишком.

Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:

– Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, – и вдруг вскипит в душе, прорвет... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

– А вы бы женились...

– Э! – воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табак и потом строго наказала мне:

– Ты гляди, не очень вертись около него; Бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один», – в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходимым для меня и во дни горьких обид и в часы радостей...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

– Бабушка тебя боится, она говорит – чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу – враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

– Я, брат, вижу уж! – тихонько говорил он. – Это, брат, грустно, а?

– Да!

– Грустно, брат...

Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая...

– Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

– Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

– Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

– Это кто сказал?

– Дедушка...

– Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

– Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

– Послушай-ко, – почти шепотом говорил он улыбаясь. – Ты помнишь, я тебе сказал – не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

– Обиделся ты на меня, да?

– Да...

– А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, – твои станут ругать меня, – так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда, понял его; я так и сказал:

– Это я давно понял!

– Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

– Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

– Чужой – понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

– Не сердись, – повторил он и шепотом на ухо добавил: – Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей...

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, – лучших людей ее...

## ХII

...Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью,

отвечаю себе – стоит; ибо это – живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, по-нуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе – человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

### ХIII

...Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, – неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

– Это – твое, а больше ничего с меня не спрашивай!



Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок:

– Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут! Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре – лавочнице, дородной, краснощекой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеда бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он – требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

– Постой, погоди, – ты сколько положила?

Высыплет чайники на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

– У тебя чай-то мельче моего, значит – я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

– По последней, что ли? – спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

– Ну, уж – по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое, – это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке – только смешно.

– А ты – полно! – успокаивала она меня. – Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, – отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе – заработаю кусок, не бойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо – тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

– Вот и спасибо те, голуба душа! Мы с тобой не прокормимся, – мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза...

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называли ветошником, нищетолюбом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом – «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

– Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх, вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства.

...Мать переселилась к деду, ... скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу.

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня...

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

– Ну, Алексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди... И пошел я в люди.

## Из зарубежной литературы

**Марк Твен**  
(1835–1910)

Вы уже читали книги замечательного американского писателя Марка Твена, в которых рассказывается об атамане мальчишек Томе Сойере и его друге, беспризорнике Геке Финне, который живет в бочке на берегу Миссисипи.

Со временем вы познакомитесь с другими произведениями Твена и узнаете о самых невероятных, фантастических событиях. Но при этом помните слова писателя: «Можно смешить читателя, но это пустое занятие, если в глубине книги не лежит любовь к людям».

Повесть «Принц и нищий» несет в себе доброе отношение к человеку, уверенность в том, что люди от рождения равны.

### **Принц и нищий**

*(Главы из повести)*

О, в милосердии двойная благодать.  
Блажен и тот, кто милует, и тот,  
Кого он милует. Всего сильнее  
Оно в руках у сильных, королям  
Оно пристало больше, чем корона.

*Шекспир  
Венецианский купец*

### **Глава 1**

#### **РОЖДЕНИЕ ПРИНЦА И РОЖДЕНИЕ НИЩЕГО**

Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия.

В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был

ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила Бога о нем, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва знакомые, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Никто не работал, все праздновали – бедные и богатые, простолюдины и знатные, – пировали, плясали, пели, угощались вином, и такая гульба продолжалась несколько дней и ночей. Днем Лондон представлял собою очень красивое зрелище, на каждом балконе, на каждой крыше развевались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть: на всех перекрестках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только и разговоров было, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Уэлском, а тот лежал завернутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутерьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди, – ему это было безразлично. Но нигде не слышно было толков о другом ребенке, о Томе Кенти, запеленатом в жалкие тряпки. Говорили о нем только в той нищенской убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот.

## Глава 2

### ДЕТСТВО ТОМА

Перешагнем через несколько лет.

Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим городом по тем временам. В нем насчитыва-

лось сто тысяч жителей, иные полагают – вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенти, – невдалеке от Лондонского моста. Дома были деревянные; второй этаж выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы у них были из крепких, положенных крест-накрест балок; промежутки между балками заполнялись прочным материалом и сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были маленькие, с мелкими ромбами стекол, и открывались наружу на петлях, как двери.

Дом, где жил отец Тома, стоял в вонючем тупике за Обжорным рядом. Тупик назывался «Двор Отбросов». Дом был маленький, ветхий, шаткий, доверху набитый беднотой. Семья Кенти занимала каморку в третьем этаже. У отца с матерью существовало некоторое подобие кровати, но Том, его бабка и обе его сестры, Бэт и Нэн, не знали такого неудобства: им принадлежал весь пол, и они могли спать, где им вздумается. К их услугам были обрывки двух-трех старых одеял и несколько охапок грязной, обветшалой соломы, но это вряд ли можно было назвать постелью, потому что по утрам все это сваливалось в кучу, из которой к ночи каждый выбирал что хотел.

Бэт и Нэн были пятнадцатилетние девчонки-близнецы, добродушные замарашки, одетые в лохмотья и глубоко невежественные. Мать мало чем отличалась от них. Но отец с бабкой были сущие дьяволы; они

напивались, где только под руку подвернется. Бранились и сквернословили на каждом шагу, в пьяном и в трезвом виде. Джон Кенти был вор, а его мать – нищенка. Они научили детей просить милостыню, но сделать их ворами не могли.

Среди нищих и воров, наполнявших дом, жил один человек, который не принадлежал к их числу. То был добрый старик священник, выброшенный королем на улицу с ничтожной пенсией в несколько медных монет. Он часто уводил детей к себе и тайком от родителей внушал им любовь к добру. Он научил Тома читать и писать, от него Том приобрел и некоторые познания в латинском языке. Старик хотел научить грамоте и девочек, но девочки боялись подруг, которые стали бы смеяться над их неуместной ученостью.

Весь Двор Отбросов представлял собою такое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил Кенти. Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Они происходили каждую ночь и длились чуть не до утра. Пробитые головы были здесь таким же заурядным явлением, как голод. И все же маленький Том не чувствовал себя несчастным. Иной раз ему приходилось очень туго, но он не придавал своим бедствиям большого значения: так жилось всем мальчишкам во Дворе Отбросов, поэтому он полагал, что иначе и быть не должно. Он знал, что вечером, когда он вернется домой с пустыми руками, отец изругает его и прибьет, да и бабка не даст ему спуска, а позднее ночью подкрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него, хотя

уже не раз попадалась во время этих предательских действий и получала в награду тяжелые побои от мужа.

Нет, Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Он просил милостыню не слишком усердно, — лишь бы только избавиться от отцовских побоев, — потому что законы против нищенства были суровы и попрошаек наказывали очень жестоко. Немало часов проводил он со священником Эндрью, слушая его дивные старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о волшебниках и феях, о заколдованных замках, великолепных королях и принцах. Воображение мальчика было полно всеми этими чудесами, и не раз ночью, в темноте, лежа на скудной и колкой соломе, усталый, голодный, избитый, он давал волю мечтам и скоро забывал и обиды и боль, рисуя себе сладостные картины восхитительной жизни какого-нибудь изнеженного принца в королевском дворце. День и ночь его преследовало одно желание: увидеть своими глазами настоящего принца. Раз он высказал это желание товарищам по Двору Отбросов, но те подняли его на смех и так безжалостно издевались над ним, что он решил впредь не делиться своими мечтами ни с кем.

Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания и книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазии были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым. Правда, он и теперь зачастую возился в грязи с



таким же удовольствием, как прежде, но в Темзе стал он плескаться не только для забавы: теперь ему нравилось также и то, что вода смывает с него грязь.

Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так сильно подействовали на него, что он, сам того не замечая, стал *разыгрывать* из себя принца, к восхищению и потехе своих уличных товарищей. Его речь и повадки стали церемонны и величественны. Его влияние во Дворе Отбросов с каждым днем возрастало, и постепенно сверстники привыкли относиться к нему с восторженным почтением, как к высшему существу. Им казалось, что он так много знает, что он способен к таким дивным речам и делам! И сам он был такой умный, ученый! О каждом замечании и о каждом поступке Тома дети рассказывали старшим, так что вскоре и старшие заговорили о Томе Кенти и стали смотреть на него как на чрезвычайно одаренного, необыкновенного мальчика. Взрослые в затруднительных случаях стали обращаться к нему за советом и часто дивились остроумию и мудрости его приговоров. Он стал героем для всех, кто знал его, — только родные не видели в нем ничего замечательного.

Прошло немного времени, и Том завел себе настоящий королевский двор. Он был принцем; его ближайшие товарищи были телохранителями, камергерами, шталмейстерами, придворными лордами, статс-дамами и членами королевской фамилии. Каждый день самозванного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из старинных романов; каждый день великие дела его мнимой державы обсуждались на королевском совете; каждый день его высочество

мнимый принц отдавал приказы воображаемым армиям, флотам и заморским владениям.

Потом он в тех же лохмотьях шел просить милостыню, выпрашивал несколько фартиггов, глодал черствую корку, получал обычную долю побоев и ругани и, растянувшись на охапке вонючей соломы, вновь предавался мечтам о своем воображаемом величии. А желание увидеть хоть раз настоящего, живого принца росло в нем с каждым днем, с каждой неделей и в конце концов заслонило все другие желания и стало его единственной страстью.

### Глава 3

#### ВСТРЕЧА ТОМА С ПРИНЦЕМ

Том встал голодный и голодный поплелся из дому, но все его мысли были поглощены призрачным великолепием его ночных сновидений. Он рассеянно брел по улицам, почти не замечая, куда идет и что происходит вокруг. Иные толкали его, иные ругали, но он был погружен в свои мечты, ничего не видел, не слышал. Наконец он очутился у ворот Темпл Бара. Дальше в эту сторону он никогда не заходил. Он остановился и с минуту раздумывал, куда он попал; потом мечты снова захватили его, и он очутился за городскими стенами. В то время Стренд уже не был проселочной дорогой и даже считал себя улицей, но вряд ли он имел право на это, потому что, хотя по одну сторону Стренда тянулся почти сплошной ряд домов, дома на другой стороне были разбросаны далеко друг от друга – великолепные замки богатейших дворян, окруженные роскошными садами, спускавшимися к

реке. В наше время на месте этих садов теснятся целые мили угрюмых строений из камня и кирпича.

Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножия красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем, оплакивавшим безвременную кончину супруги; потом опять неторопливо побрел по прекрасной пустынной дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу – Вестминстерскому. Пораженный и счастливый, глядел он на громадное здание с широко раскинувшимися крыльями, на грозные бастионы и башни, на массивные каменные ворота с золочеными решетками, на колоссальных гранитных львов и другие эмблемы английской королевской власти. Неужели настало время, когда его заветное желание сбудется? Ведь это королевский дворец. Разве не может случиться, что небеса окажутся благосклонны к Тому и он увидит принца – настоящего принца, из плоти и крови?

По обеим сторонам золочёных ворот стояли две живые статуи – стройные и неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы крестьян и городских жителей, чающих хоть одним глазком увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Нарядные экипажи с нарядными господами и такими же нарядными слугами на запятках въезжали и выезжали из многих великолепных ворот дворцовой ограды.

Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо

часовых; сердце его сильно стучало, в душе пробудилась надежда. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик, смуглый и загорелый от игр и гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атлас, сверкающий драгоценными камнями; на боку у него висели маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал; на ногах были высокие изящные сапожки с красными каблучками, а на голове – прелестная алая шапочка с ниспадающими на плечи перьями, скрепленными крупным драгоценным камнем. Поблизости стояло несколько пышно разодетых господ – без сомнения, его слуги. О, это, конечно, принц! Настоящий, живой принц! Тут не могло быть и тени сомнения. Наконец-то была услышана молитва мальчишки-нищего!

Том стал дышать часто-часто, глаза его широко раскрылись от удивления и радости. В эту минуту все его существо было охвачено одним желанием, заслонившим собою все другие: подойти ближе к принцу и всласть наглядеться на него. Не сознавая, что делает, он прижался к решетке ворот. Но в тот же миг один из солдат грубо оттащил его прочь и швырнул в толпу деревенских зевак и столичных бездельников с такой силой, что мальчик завертелся вьюном.

– Знай свое место, бродяга! – сказал солдат.

Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами:

– Как смеешь ты обижать этого бедного отрока! Как смеешь ты так грубо обращаться даже с самым

последним из подданных моего отца-короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!

Посмотрели бы вы, как преклонилась пред ним изменчивая, ветреная толпа, как обнажились все головы! Послушали бы, как радостно толпа закричала: «Да здравствует принц Уэлский!»

Солдаты отдали честь алебардами, отворили ворота и снова отдали честь, когда мимо них прошел принц Нищеты в развевающихся лохмотьях и поздоровался за руку с принцем Несметных Богатств.

– Ты кажешься голодным и усталым, – произнес Эдуард Тюдор. – Тебя обидели. Следуй за мной.

С полдюжины придворных лакеев бросились вперед – уж не знаю зачем: вероятно, они хотели вмешаться. Но принц отстранил их истинно королевским движением руки, и они мгновенно застыли на месте, как статуи. Эдуард ввел Тома в роскошно убранную комнату во дворце, которую он называл своим кабинетом. По его приказу были принесены такие яства, каких Том в жизни своей не видывал, только читал о них в книгах. С деликатностью и любезностью, подобающей принцу, Эдуард отослал слуг, чтобы они не смущали смиренного гостя своими укоризненными взорами, а сам сел рядом и, покуда Том ел, задавал ему вопросы:

– Как тебя зовут, отрок?

– Том Кенти, с вашего позволения, сэр.

– Странное имя... Где ты живешь?

– В Лондоне, осмелюсь доложить вашей милости.

Двор Отбросов за Обжорным рядом.

– Двор Отбросов! Еще одно странное имя!.. Есть у тебя родители?

– Родители у меня есть. Есть и бабушка, которую я не слишком люблю, – да простит мне Господь, если это грешно!.. И еще у меня есть две сестры-близнецы – Нэн и Бэт.

– Должно быть, твоя бабушка не очень добра к тебе?

– Она ни к кому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло.

– Обижает она тебя?

– Лишь тогда она не колотит меня, когда спит или затуманит свой разум вином. Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее.

Глаза маленького принца сверкнули гневом.

– Как? Бьет? – вскрикнул он.

– О да, смею доложить вашей милости!

– Бьет! Тебя, такого слабосильного, маленького! Слушай! Прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король, мой отец...

– Вы забываете, сэр, что она низкого звания. Тауэр – темница для знатных.

– Правда! Это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее. А отец твой добр к тебе?

– Не добрее моей бабушки Кенти, сэр.

– Отцы, кажется, все одинаковы. И у моего нрав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань он, по правде сказать, не скупится. А как обходится с тобою твоя мать?

– Она добра, сэр, и никогда не причиняет мне ни огорчений, ни боли. И Нэн и Бэт так же добры, как она.

– Сколько им лет?

– Пятнадцать, с вашего позволения, сэр.

– Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать. Леди Джэн Грей, моя двоюродная сестра, мне ровес-

ница; они обе миловидны и приветливы; но моя другая сестра, леди Мэри, у которой такое мрачное, хмурое лицо... Скажи, твои сестры запрещают служанкам смеяться, дабы те не запятнали свою душу грехом?

– Мои сестры? Вы полагаете, сэр, что у них есть служанки?

Минуту маленький принц смотрел на маленького нищего с важной задумчивостью, потом произнес:

– Как же, скажи на милость, могут они обойтись без служанок? Кто помогает им снимать на ночь одежду? Кто одевает их, когда они встают поутру?

– Никто, сэр. Вы хотите, чтобы на ночь они раздевались и спали без одежды, как звери?

– Без одежды? Разве у них по одному только платью?

– Ах, ваша милость, да на что же им больше? Ведь не два же у них тела у каждой.

– Какая странная, причудливая мысль! Прости мне этот смех, я не думал обидеть тебя. У твоих добрых сестер, Нэн и Бэт, будет платьев и слуг достаточно, и очень скоро: об этом позаботится мой казначей. Нет, не благодари меня, это пустое. Ты хорошо говоришь, легко и красиво. Ты обучен наукам?

– Не знаю, как сказать, сэр. Добрый священник Эндрью из милости обучил меня по своим книгам.

– Ты знаешь латынь?

– Боюсь, что знания мои скудны, сэр?

– Выучись, милый, – это нелегко лишь на первых порах. Греческий труднее, но, кажется, ни латинский, ни греческий, ни другие языки не трудны леди Елизавете и моей кухне. Послушал бы ты, как эти

юные дамы говорят на чужих языках! Но расскажи мне о твоём Дворе Отбросов. Весело тебе там живётся?

– Поистине весело, с вашего разрешения, сэ, если, конечно, я сыт. Нам показывают Панча и Джуди, а также обезьянок. О, какие это потешные твари! У них такая пестрая одежда! Кроме того, нам дают представления: актёры играют, кричат, дерутся, а потом убивают друг друга и падают мертвыми. Так занятно смотреть, и стоит всего лишь фартинг; только иной раз очень уж трудно добыть этот фартинг, смею доложить вашей милости.

– Рассказывай ещё!

– Мы, мальчики во Дворе Отбросов, иногда сражаемся между собою на палках, как подмастерья.

У принца сверкнули глаза.

– Ого! Это и я бы не прочь. Рассказывай ещё!

– Мы бегаем взапуски, сэ, кто кого перегонит.

– Мне пришлось бы по вкусу и это! Дальше!

– Летом, сэ, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и...

– Я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так! Пожалуйста, рассказывай ещё!

– Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайте; мы зарываем друг друга в песок; мы делаем из грязи пироги... О, эта прекрасная грязь! В целом мире ничто не доставляет нам больше удовольствия. Мы прямо-таки валяемся в грязи, не в обиду будь вам сказано, сэ!



– Ни слова больше, прошу тебя! Это чудесно! Если бы я только мог облечься в одежду, которая подобна твоей, походить босиком, влечься повалиться в грязи хоть один-единственный раз, но чтобы меня никто не бранил и не сдерживал, – я, кажется, с радостью отдал бы корону.

– А я... если бы я хоть мог одеться так, как вы, ваша светлость... только один-единственный раз...

– О, вот чего тебе хочется? Что ж, будь по-твоему! Снимай лохмотья и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным! Позабавимся, покуда возможно, а потом опять переоденемся, прежде чем придут и помешают.

Не прошло и пяти минут, как маленький принц Уэлский облёкся в тряпье Тома, а маленький принц Нищеты – в великолепное цветное королевское платье. Оба подошли к большому зеркалу, и – о чудо! – им показалось, что они вовсе не менялись одеждой. Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Наконец удивленный принц сказал:

– Что ты об этом думаешь?

– Ах, ваша милость, не требуйте, чтобы я ответил на этот вопрос. В моем звании не подобает говорить о таких вещах.

– Тогда скажу об этом я. У тебя такие же волосы, такие же глаза, такой же голос, такая же поступь, такой же рост, такая же осанка, такое же лицо, как у меня. Если бы мы вышли нагишом, никто не мог бы сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэлский. Теперь, когда на мне твоя одежда, мне кажется, я живее чув-

ствую, что почувствовал ты, когда грубый солдат... Послушай, откуда у тебя этот синяк на руке?

– Пустяки, государь! Ваша светлость знает, что тот злополучный часовой...

– Молчи! Он поступил постыдно и жестоко! – воскликнул маленький принц, топнув босой ногой. – Если король... Не двигайся с места, пока я не вернусь! Таково мое приказание!

В один миг он схватил и спрятал какой-то предмет государственной важности, лежавший на столе, и, выскочив за дверь, помчался в жалких лохмотьях по дворцовым покоем.

Лицо у него разгорелось, глаза сверкали. Добежав до больших ворот, он вцепился в железные прутья и, дергая их, закричал:

– Открой! Отвори ворота!

Солдат, тот самый, что обидел Тома, немедленно исполнил это требование: как только принц, задыхаясь от монаршего гнева, выбежал из высоких ворот, солдат наградил его такой звонкой затрещиной, что он кубарем полетел на дорогу.

– Вот тебе, нищенское отродье, за то, что мне из-за тебя досталось от его высочества! – сказал солдат.

Толпа заревела, захохотала. Принц выкарабкался из грязи и гневно подскочил к часовому, крича:

– Я – принц Уэлский! Моя особа священна, и тебя повесят за то, что ты осмелился ко мне прикоснуться!

Солдат отдал ему честь алебардой и, ухмыляясь, сказал:

– Здравия желаю, ваше королевское высочество! – Потом сердито: – Поди ты вон, полоумная рвань!

Толпа с хохотом сомкнулась вокруг бедного маленького принца и погнала его по дороге с гиканьем и криками:

– Дорогу его королевскому высочеству! Дорогу принцу Уэлскому!

## Глава 4

### НЕВЗГОДЫ ПРИНЦА НАЧИНАЮТСЯ

Толпа травила и преследовала принца в течение многих часов, а потом отхлынула и оставила его в покое. Пока у принца хватало сил яростно отбиваться от черни, грозя ей своей королевской немилостью, пока он мог по-королевски отдавать ей приказания, это забавляло всех, но, когда усталость наконец принудила принца умолкнуть, он утратил для мучителей всякую занимательность, и они отправились искать себе других развлечений. Принц стал озираться вокруг, но не узнавал местности; он знал только, что находится в Лондоне. Он пошел куда глаза глядят. Немного погодя дома стали редеть, прохожих встречалось все меньше. Он окунул окровавленные ноги в ручей, протекавший там, где теперь находится Фаррингдон-стрит, отдохнул несколько минут и снова пустился в путь. Скоро добрал он до большого пустыря, где было лишь несколько беспорядочно разбросанных зданий и стояла огромная церковь. Принц узнал эту церковь. Она была окружена лесами, и всюду возились рабочие: ее перестраивали заново. Принц сразу приободрился. Он почувствовал, что его злоключениям – конец, и сказал себе: «Это древняя церковь Серых монахов, которую король, мой отец, отнял у них и превратил в убежище для брошенных и

бедных детей и дал ей новое название – Христова обитель. Здешние питомцы, конечно, с радостью окажут услугу сыну того, кто был так щедр и великодушен к ним, тем более что этот сын так же покинут и беден, как те, что ныне нашли здесь приют или найдут его в будущем».

Скоро он очутился в толпе мальчуганов, которые бегали, прыгали, играли в мяч и в чехарду, – каждый забавлялся как мог, и все страшно шумели. Они были одеты одинаково, как одевались в те дни подмастерья и слуги. У каждого на макушке была плоская черная шапочка величиною с блюдце – она не защищала головы, потому что была очень мала, и уж совсем не украшала ее; из-под шапочки падали на лоб волосы, подстриженные в кружок, без пробора; на шее – воротник, как у лиц духовного звания; синий камзол с широкими рукавами, плотно облегавший тело и доходивший до колен; широкий красный пояс, ярко-желтые чулки, перетянутые выше колен подвязками, и туфли с большими металлическими пряжками. Это был довольно безобразный костюм.

Мальчики прекратили игру и столпились вокруг принца. Тот проговорил с прирожденным достоинством:

– Добрые мальчики, скажите вашему начальнику, что с ним желает беседовать Эдуард, принц Уэлский.

Эти слова были встречены громкими криками, а один дерзкий подросток сказал:

— Ты, что ли, оборванец, посол его милости?

Лицо принца вспыхнуло гневом, он привычным жестом протянул было руку к бедру, но ничего не нашел. Все дружно захохотали, и один мальчишка крикнул:

– Видали! Он и впрямь был уверен, что у него, как у принца, есть шпага!

Эта насмешка вызвала новый взрыв хохота. Эдуард гордо выпрямился и сказал:

– Да, я принц. И не подобает вам, кормящимся щедротами отца моего, так обращаться со мною.

Слова его показались чрезвычайно забавными, и толпа опять захохотала. Подросток, который вступил в разговор раньше всех, крикнул своим товарищам:

– Эй вы, свиньи, рабы, нахлебники царственного отца его милости, или вы забыли приличия? Скорее на колени, вы все, да стучайте лбами покрепче! Кланяйтесь его королевской особе и его королевским лохмотьям!

И с буйным весельем все они упали на колени, воздавая своей жертве глумливые почести.

Принц пнул ближайшего мальчишку ногой и с негодованием сказал:

– Вот тебе покуда задаток, а завтра я тебя вздерну на виселицу!

Ого, это уж не шутка! Какие тут шутки! Смех мгновенно умолк, и веселье уступило место ярости. Голосов десять закричало:

– Держи его! Волоки его в пруд! Где собаки? Хватай его, Лев! Хватай его, Клыкастый!

Затем последовала сцена, какой никогда не видела Англия: плебеи подняли руку на священную особу наследника и стали травить его псами, которые чуть не разорвали его.

К ночи принц очутился в густонаселённой части города. Тело его было в синяках, руки в крови, лохмотья забрызганы грязью. Он бродил по улицам, все больше теряя мужество, – усталый и слабый, еле во-

лоча ноги. Он уже перестал задавать вопросы прохожим, потому что те отвечали ему одними ругательствами. Он бормотал про себя:

– Двор Отбросов! Только бы хватило у меня сил не упасть и дотащиться до него – тогда я спасен. Родные этого мальчишки отведут меня во дворец, скажут, что я не принадлежу к их семье, что я истинный принц, – и я снова стану чем был.

Время от времени он вспоминал, как его обидели мальчишки из Христовой обители, и говорил себе:

– Когда я сделаюсь королем, они не только получат от меня пищу и кров, но будут учиться по книгам, так как сытый желудок немного стоит, если голодают сердце и ум. Эту историю я постараюсь хорошенько запомнить, чтобы урок, полученный мною сегодня, не пропал даром и мой народ не страдал бы от невежества. Знание смягчает сердце, воспитывает милосердие и жалость.

В окнах зажглись огни, поднялся ветер, пошел дождь – наступила сырая, холодная ночь. Бездомный принц, бесприютный наследник английского трона, шел все дальше и дальше, углубляясь в лабиринты грязных улиц, где теснились кишачие улы нищеты.

Вдруг какой-то пьяный огромного роста грубо схватил его за шиворот и сказал:

– Опять прошлялся до такого позднего часа, а домой небось не принес ни одного медного фартинга! Ну смотри! Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра, не будь я Джон Кенти!

Принц вырвался из рук пьяницы и, брезгливо потирая оскверненное его прикосновением плечо, вскричал:

– О, ты *его отец?* Слава благим небесам! Отведи меня в родительский дом, а его уведи оттуда.

– *Его отец?* Не знаю, что ты хочешь сказать, но знаю, что твой отец я... И скоро ты на собственной шкуре...

– О, не шути, не лукавь и не мешкай! Я устал, я изранен, я не в силах терпеть. Отведи меня к моему отцу, королю, и он наградит тебя такими богатствами, какие тебе не снились и в самом причудливом сне. Верь мне, верь, я не лгу, я говорю чистую правду! Протяни мне руку, спаси меня! Я воистину принц Уэлский!

С изумлением уставился Джон Кенти на мальчика и, качая головой, пробормотал:

– Спятил с ума, словно сейчас из сумасшедшего дома. Потом он опять схватил принца за шиворот, хрипло засмеялся и выругался:

– В своем ты уме или нет, а мы с бабкой пересчитаем тебе все ребра, не будь я Джон Кенти!

И он потащил за собой упирающегося, разъяренного принца и скрылся вместе с ним в одном из ближайших дворов, провожаемый громкими и веселыми криками уличного сброда.

## Глава 5

### ТОМ — ПАТРИЦИЙ

Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом, потом отошел, подражая благородной осанке принца и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект, потом

обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди, как делал это пять-шесть недель назад на его глазах один благородный рыцарь, отдавая честь коменданту Тауэра при передаче ему знатных лордов Норфолька и Сэррея для заключения в тюрьму. Том играл изукрашенным драгоценными камнями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство комнаты, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчишки со Двора Отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой, или будут качать головами и приговаривать, что от чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка?

Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять; он жадно прислушивался к каждому звуку. Сперва ему было не по себе, потом он встревожился, потом не на шутку испугался. Вдруг войдут какие-нибудь люди и застанут его в одежде принца, а принца нет, и никто не объяснит им, в чем дело. Ведь они, чего доброго, тут же повесят его, а потом уж начнут дознаваться, как он сюда попал. Он слышал, что у знатных людей решения принимаются быстро, когда дело идет о таких мелочах. Тревога его росла. Весь дрожа, он тихонько отворил дверь в соседний покой. Нужно поскорее отыскать принца. Принц защитит его и выпустит отсюда. Шестеро великолепно одетых господ, состав-



лявших прислугу принца, и два молодых пажа знатного рода, нарядные, словно бабочки, вскочили и низко поклонились ему. Он поспешно отступил и захлопнул за собою дверь.

«Они смеются надо мной! – подумал он. – Они сейчас пойдут и расскажут... О, зачем я попал сюда на свою погибель!»

Он зашагал из угла в угол в безотчетной тревоге и стал прислушиваться, вздрагивая при каждом шорохе. Вдруг двери распахнулись, и шелковый паж доложил:

– Леди Джэн Грей.

Двери закрылись, и к нему подбежала вприпрыжку прелестная, богато одетая девочка. Вдруг она остановилась и проговорила с огорчением:

– О! Почему ты так печален, милорд?

Том обмер, но сделал над собою усилие и пролепетал:

– Ах, сжался надо мною! – Я не милорд, я всего только бедный Том Кенти из Лондона, со Двора Отбросов. Прошу тебя, позволь мне увидеть принца, дабы он, по своему милосердию, отдал мне мои лохмотья и позволил уйти отсюда целым и невредимым. О, сжался, спаси меня!

Мальчик упал на колени, простирая к ней руки, моля не только словами, но и взглядом. Девочка, казалось, онемела от ужаса, потом воскликнула:

– О милорд, ты на коленях – передо мною! – и в страхе убежала.

Том в отчаянии упал на пол и сказал про себя:

– Ни помощи, ни надежды! Сейчас придут и схватят меня.

Между тем, пока он лежал на полу, цепenea от ужаса, страшная весть разнеслась по дворцу. Шепот переходил от слуги к слуге, от лорда к леди – во дворцах всегда говорят шепотом, – и по всем длинным коридорам, из этажа в этаж, из зала в зал проносилось: «Принц сошел с ума! Принц сошел с ума!» Скоро в каждой гостиной, в каждом мраморном зале блестящие лорды и леди и другие столь же ослепительные, хотя и менее знатные, особы оживленно шептались друг с другом, и на каждом лице была скорбь. Внезапно появился пышно разодетый царедворец и мерным шагом обошел всех, торжественно провозглашая:

#### «ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!

Под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца! Именем короля!»

Шушуканье сразу умолкло, как будто все шептавшиеся вдруг онемели.

Вскоре по коридорам пронеслось пчелиное жужжание:

– Принц! Смотрите, принц идет!

Бедный Том медленно шел мимо низко кланявшихся ему придворных, стараясь отвечать им такими же поклонами и смиренно поглядывая на всю эту странную обстановку растерянными, жалкими глазами. Двое вельмож поддерживали его под руки с обеих сторон, чтобы придать твердость его походке. Позади шли придворные врачи и несколько лакеев.

Затем Том очутился в богато убранном покое дворца и услышал, как за ним захлопнули дверь. Вокруг него стали те, кто сопровождал его.

Перед ним на небольшом расстоянии полулежал очень грузный, очень толстый мужчина с широким мясистым лицом и недобрый взглядом. Огромная голова его была совершенно седая; бакенбарды, окаймлявшие лицо, тоже были седые. Платье на нем было из дорогой материи, но поношено и местами потеряно. Распухшие ноги – одна из них была забинтована – покоились на подушке. В комнате царила тишина, и все, кроме Тома, почтительно склонили головы. Этот калека с суровым лицом был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его неожиданно стало ласковым:

– Ну что, милорд Эдуард, мой принц? С чего тебе вздумалось шутить надо мною такие печальные шутки, надо мною – твоим добрым отцом-королем, который так любит и ласкает тебя?

Бедный Том выслушал, насколько ему позволяли его удрученные чувства, начало этой речи, но, когда слова «твоим добрым отцом-королем» коснулись его слуха, лицо у него побелело и он как подстреленный упал на колени, поднял кверху руки и воскликнул:

– Ты — *король!* Ну, тогда мне и вправду конец!

Эти слова ошеломили короля, глаза его растерянно перебегали от одного лица к другому и наконец остановились на мальчике. Тонем глубокого разочарования он проговорил:

– Увы, я думал, что слухи не соответствуют истине, но боюсь, что ошибся. – Он тяжело вздохнул и ласково обратился к Тому: – Подойди к отцу, дитя мое. Ты нездоров?

Тому помогли подняться на ноги, и, весь дрожа, он робко подошел к его величеству королю Англии. Сжав его виски между ладонями, король любовно и

пристально вглядывался в его испуганное лицо, как бы ища утешительных признаков возвращающегося рассудка, потом притянул к груди кудрявую голову мальчика и нежно потрепал ее рукой.

– Неужели ты не узнаешь своего отца, дитя мое? – сказал он. – Не разбивай моего старого сердца, скажи, что ты знаешь меня! Ведь ты меня знаешь, не правда ли?

– Да. Ты мой грозный повелитель, король, да хранит тебя Бог!

– Верно, верно... это хорошо... Успокойся же, не дрожи. Здесь никто не обидит тебя, здесь все тебя любят. Теперь тебе лучше, дурной сон проходит, не правда ли? И ты опять узнаешь самого себя – ведь узнаешь? Сейчас мне сообщили, что ты называл себя чужим именем. Но больше ты не будешь выдавать себя за кого-то другого, не правда ли?

– Прошу тебя, будь милостив, верь мне, мой августейший повелитель: я говорю чистую правду. Я низжайший из твоих подданных, я родился нищим, и только горестный, обманчивый случай привел меня сюда, хотя я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня. О, скажи это слово, государь!

– Умирать? Не говори об этом, милый принц, успокойся. Да снидет мир в твою встревоженную душу... ты не умрешь.

Том с криком радости упал на колени:

– Да наградит тебя Господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны!

Том вскочил на ноги и с веселым лицом обратился к одному из двух сопровождавших его лордов:

– Ты слышал? Я не умру! Это сказал сам король!

Все склонили головы с угрюмой почтительностью, но никто не тронулся с места и не сказал ни слова. Том помедлил, слегка смущенный, потом повернулся к королю и боязливо спросил:

– Теперь я могу уйти?

– Уйти? Конечно, если ты желаешь. Но почему бы тебе не побыть здесь еще немного? Куда же ты хочешь идти?

Том потупил глаза и смиренно ответил:

– Возможно, что я ошибся; но я счел себя свободным и хотел вернуться в конуру, где родился и рос в нищете, где поныне обитают моя мать, мои сестры; эта конура – мой дом, тогда как вся эта пышность и роскошь, к коим я не привык... О, будь милостив, государь, разреши мне уйти!

Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу. Но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда:

– Быть может, он помешался на одной этой мысли и его разум остается по-прежнему ясным, когда обращается на другие предметы? Пошли, Господь, чтоб это было так! Мы испытаем его!

Он задал Тому вопрос по-латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинской фразой. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи также выразили свое удовольствие.

– При его учености и дарованиях, – заметил король, – он мог бы ответить гораздо лучше, однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно. Как вы полагаете, сэр?

Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил:

– Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением.

Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока и уже веселее продолжал:

– Хорошо! Следите все. Будем испытывать его дальше.

И он предложил Тому вопрос по-французски. Том с минуту молчал, смущенный тем, что все взгляды сосредоточились на нем, потом застенчиво ответил:

– С вашего позволения, сэр, мне этот язык неизвестен.

Король откинулся назад, на подушки. Несколько слуг бросились ему на помощь, но он отстранил их и сказал:

– Не тревожьте меня... это минутная слабость, не больше. Поднимите меня. Вот так, достаточно. Поди сюда, дитя, положи свою бедную помраченную голову на грудь отцу и успокойся! Ты скоро поправишься; это мимолетная причуда, это пройдет. Не пугайся! Скоро ты будешь здоров.

Затем он обратился к остальным, и лицо его из ласкового мгновенно стало грозным, а в глазах заблистали молнии.

– Слушайте, вы все! – сказал он. – Сын мой безумен, но это помешательство временное. Оно вызвано непосильными занятиями и слишком замкнутой жизнью. Долой все книги, долой учителей! Забавляйте его играми, развлекайте такими забавами, которые служат к укреплению сил, это восстановит его здоровье!

Король поднялся еще выше на подушках и продолжал с большим одушевлением:

– Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший, он будет царствовать! Слушайте дальше и разгласите повсюду: всякий говорящий о его недуге посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу!.. Дайте мне пить... я весь в огне... горе истощает мои силы... Так. Возьмите прочь эту чашу... Поддержите меня... Так, хорошо. Он сумасшедший? Будь он тысячу раз сумасшедший – все же он принц Уэлский, и я, король, дам этому публичное подтверждение. Ныне же он будет утвержден в сане принца-наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Повелеваю вам немедленно приступить к делу, милорд Гертфорд!

Один из лордов склонил колени перед королевским ложем и сказал:

– Вашему королевскому величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному...

– Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. Неужели этот человек никогда не умрет? Неужели он будет вечной преградой моим королевским желаниям? И сыну моему не быть утвержденным в своих наследных правах лишь потому, что гофмаршал Англии запятнан государственной изменой и недостойн утвердить его в сане наследника? Нет, клянусь всемогущим Богом! Предупреди мой парламент, чтобы еще до восхода солнца он вынес смертный приговор Норфольку, иначе парламент жестоко поплатится!

– Королевская воля – закон! – произнес лорд Гертфорд и, поднявшись с колен, вернулся на прежнее место.

Выражение гнева мало-помалу исчезло с лица короля.

– Поцелуй меня, мой принц! – сказал он. – Вот так... Чего же ты боишься? Ведь я твой отец, я люблю тебя.

– Ты добр ко мне, недостойному, о могущественнейший и милосердный государь, это поистине так. Но... но... меня удручает мысль о том, кто должен умереть, и...

– А, это похоже на тебя, это похоже на тебя! Я знал, что сердце у тебя осталось прежнее, хотя распад твой помрачен; у тебя всегда было доброе сердце. Но этот герцог стоит между тобою и твоими высокими почестями. Я назначу на его место другого, кто не запятнает своего сана изменой. Успокойся, мой добрый принц, не утруждай напрасно свою бедную голову...

– Но не я ли ускорю его смерть, мой повелитель? Как долго мог бы он прожить еще, если бы не я?

– Не думай о нем, мой принц! Он недостоин этого. Поцелуй меня еще раз и вернись к твоим утехам и радостям! Моя болезнь изнурила меня, я устал; мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Гертфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом!

Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял, – что теперь его отпустят на свободу. И снова



он услышал негромкое жужжание голосов: «Принц, принц идет!»

Чем дальше Том шел меж двух рядов раззолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой раззолоченной клетки, – несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если Господь Бог, по своему милосердию, не сжалится над ним и не вернет ему волю. И куда бы он ни повернулся, ему чудилось, что он видит летящую в воздухе отрубленную голову и врезавшееся ему в память лицо великого герцога Норфолькского с устремленным на него укоризненным взором.

Его недавние мечты были так сладостны, а действительность оказалась так мрачна и ужасна!...

Вы прочитали начало повести «Принц и нищий». Надеемся, что вам захочется прочитать ее полностью, чтобы узнать о дальнейших удивительных событиях и о том, чем закончилась эта история.

### **Джек Лондон (1876–1916)**

Произведения американского писателя Джека Лондона (Джона Гриффита Чейни) привлекают романтикой и в то же время правдивым изображением жизни.

В основе каждого рассказа писателя – напряженная и опасная ситуация. В характере героев Джека Лондона сочетаются благородство и вера в человека, воля и стойкость, терпение и упорство в достижении цели. Герои не отступают перед препятствиями, всегда борются до конца и побеждают.

На них похож и мальчик Джерри из рассказа «На берегах Сакраменто». Но он не чувствует себя героем. Он просто живет среди хороших людей, которых уважает и которым хочет помочь в трудную минуту.

## На берегах Сакраменто

Ветер мчится – хо-хо-хью! –  
Прямо в Калифорнию.  
Сакраменто – край богатый:  
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик-подросток тонким, пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, когда крутят лебедку, снимаясь с якоря, чтобы двинуться в порт Фриско.

Малыш Джерри – так звали его, потому что был еще старик Джерри, его отец, он-то и научил сына этой песне, а сверх того подарил ему ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и светлую, сплошь усыпанную веснушками кожу.

Старик Джерри был моряком, он добрую половину своей жизни плывал по морям, и слова матросской песни сами просились ему на язык. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то он и увидел золото, потому что пристроился на работу на рудник Золотая Грёза и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась в его ведении. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и

вскоре стал незаменимым работником на руднике Золотая Грѐза. А потом он полюбил красавицу Маргарет Кѐлли, но она очень скоро покинула и его, и малютку Джерри и уснула непробудным сном на маленьком кладбище, среди больших суровых сосен.

Старик Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малютке Джерри. Для рудника Золотая Грѐза наступили черные дни, и тогда старик остался на службе у компании, сторожил ее – ныне брошенное – имущество.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только маленький Джерри сидел на пороге своего домишка и распевал матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, он различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие просто силой тяжести, то есть вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, и в то же время тянула в другую сторону пустую вагонетку. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, то все повторялось снова, и повторялось много-много

сотен и тысяч раз с тех пор, как старик Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри оборвал свое пение, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубашке, с винтовкой на плече вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике Желтый Дракон, расположенном в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

– Здорово, малыш! – крикнул он. – Что ты тут делаешь один-одинешенек?

– А я здесь теперь хозяин, – отвечал Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному. – Отец, знаете, уехал.

– Куда же он уехал? – спросил пришелец.

– В Сан-Франциско. Он еще вчера вечером уехал. Брат у него умер где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Он только завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него легла большая ответственность – самолично сторожить рудник Золотая Грёза. Видно было в то же время, что он рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе и завтрак и прочую еду.

– Ну смотри, будь поосторожней, – посоветовал ему Холл, – да не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подцепить оленя в каньоне Колченогой Коровы.

– Как бы дождя не было, – степенно промолвил Джерри.

– А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? – засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся в лесу.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны закрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задрезжались, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать. «Сегодня уж, конечно, гулять не придется», – решил он, тщательно вымыв и прибрав посуду после еды. И еще подумал: как, должно быть, вымок Холл и удалось ли ему подстрелить оленя?

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно влетели мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен — фермеры, жившие в уединённой долине, милях в двенадцати от реки.

– А где Холл? – запыхавшись, спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, поплёкшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжкую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

– Он на охоту пошел в каньон Колченогой Коровы. А вам что – на ту сторону, что ли, надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге Желтого Дракона. За переправу полагалась небольшая плата, из которой компания Желтого Дракона платила жалованье Холлу.

– Нам надо на ту сторону, Джерри, – сказал Спиллен и ткнул пальцем через плечо в сторону плачущей жены. – Отца у нее задавило на руднике, в шахте Клеверного Листа. Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только сейчас сообщили.

Джерри почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тропам Золотой Грэзы, но без отца Джерри не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге никогда не возили пассажиров и она уже давно находилась в бездействии.

– А может быть, Холл скоро придет, – промолвил он. Спиллен покачал головой.

– А отец где? – спросил он.

– В Сан-Франциско, – коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

– Послушай, малыш, – сказал он тоном, не допускающим возражений, – нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле – запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

– Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл, – робко сказал он.

– А если нет?

Джерри снова замялся.

– Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, малый, нам до зарезу надо на ту сторону.

Джерри нерешительно кивнул.

– А дожидаться Холла нет никакого смысла, – продолжал Спиллен, – ты сам понимаешь, что он скоро из каньона Колченогой Коровы не вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Неудивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогли ей взобраться в вагонетку!» – так невольно подумал Джерри, заглянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась совершенно бездонной. Противоположного берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, и гонимые неистовым ветром клочья облаков, и яростную пену, и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

– Ну, готово? – спросил Джерри.

– Давай! – во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра. Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку.

Джерри это не понравилось.

– Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! – крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завер-

телся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверх.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана. «Триста футов... – шептал он по мере того, как проходили отметки на кабеле. – Триста пятьдесят... четыреста... четыреста пятьдесят...»

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться. И вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле, на высоте двухсот пятидесяти футов от другого берега, висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.



Три раза Джерри окликал их во всю пронзительную силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекою стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам Желтого Дракона и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это случилось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Джерри быстро прикрепил блок к тросу, бормоча про себя: «Блок ведь сильный, четырехкратный...» И стал тянуть. Мальчик тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Он уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к Желтому Дракону, не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хоть и беспокоила мысль, что придется обойтись

без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Однако он сам соорудил себе тормоз из длинной веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и он еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим – Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах против ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану Золотой Грэзы.

Однако, осмотрев его, он с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на том и на другом конце все в исправности. Где же, в таком случае, застопорило? Не иначе как посередине!

Сейчас вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу он мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услышал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал руками оба колесика вагонетки. Затем он повернулся лицом к берегу:

– Здесь все в порядке, малый!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в

пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану. Но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского шпагата. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие матросской люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные шквалы швыряли его то туда, то сюда

и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... а вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра – не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но он мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, когда решил сделать первую остановку и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

– Рад бы помочь тебе, – крикнул Спиллен, – да жена у меня совсем не в себе! Смотри, малыш, будь осторожнее. Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

– Да уж так не оставлю! – крикнул ему в ответ Джерри. – Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как соскочивший маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки. С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и

соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку – это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и сидела как мертвая. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался как мог, но ветер непрерывно толкал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить гаечный ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным – и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно, – длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Прodef гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси. Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу – хотя ему это и не было видно, – вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый знакомый – уверенно вращающийся барабан.

Джерри соскочил на землю и старательно закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг – совсем уже не по-геройски, – невзирая на бурю и ливень, бросился на землю у самого барабана и громко расплакался.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускаявшего его несколько часов, и еще горячее, захватывающее чувство радости от того, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте Клеверного Листа.

Джерри, пошатываясь, побрел к дому; белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее. Но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, ибо твердо знал, что поступил правильно, а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Одно только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

### **Джеймс Крюс (1926–1997)**

Джеймс Крюс – немецкий писатель, автор стихов и фантастических повестей для детей.

Вот что написал Джеймс Крюс о фантастической повести «Тим Талер, или Проданный смех»: «В этой книге говорится про смех и про деньги. К настоящим богатствам, таким, как счастье, мир, человечность, деньги никакого отношения не имеют. А вот смех имеет, да еще какое!»

А теперь сосредоточьтесь на чтении, и вы узнаете, какой трудный, запутанный и горький путь прошел один мальчик, прежде чем понял, как дорог смех и даже самая обыкновенная улыбка.

## **Тим Талер, или Проданный смех**

*(Отрывок)*

### **Лист 1**

#### **МАЛЬЧИК ИЗ ПЕРЕУЛКА**

В больших городах с широкими улицами и теперь еще встречаются переулки такие узкие, что можно, высунувшись из окошка, пожать руку соседу из

окошка напротив. Иностранные туристы, которые путешествуют по свету с большим запасом денег и чувств, случайно очутившись в таком переулочке, всегда восклицают: «Как живописно!» А дамы вздыхают: «Какая идиллия! Какая романтика!»

Но эта идиллия и романтика – одна видимость, потому что в таких переулках обычно живут люди, у которых совсем мало денег. А тот, у кого в большом богатом городе так мало денег, нередко становится угрюмым и завистливым. И дело тут не только в людях, тут дело в самих переулках.

Маленький Тим поселился в таком переулке, когда ему было три года. Его веселая круглолицая мама тогда уже умерла, а отцу пришлось наняться подсобным рабочим на стройку, потому что в те времена не так-то легко было найти хоть какую-нибудь работу. И вот отец с сыном переехали из светлой комнаты с окнами на городской сад в узкий переулочек, вымощенный булыжником, где всегда пахло перцем, тмином и анисом: в переулочке этом стояла единственная во всем городе мельница, на которой мололи пряности. Вскоре у Тима появилась худощавая мачеха, похожая на мышь, да еще сводный брат, наглый, избалованный и такой бледный, словно лицо ему вымазали мелом.

Хотя Тиму только исполнилось три года, он был крепким и вполне самостоятельным пареньком, мог без всякой посторонней помощи управлять океанским пароходом из табуреток и автомашиной из диванных подушек и на редкость заразительно смеялся. Когда его мама была еще жива, она хохотала до слез, слушая, как Тим, пустившись в далекое путе-



шествие по воде и по суше на своих подушках и табуретках, весело выкрикивает: «Ту-ту-ту! Стоп! Аме-ерика!»

А от мачехи он за то же самое получал шлепки и колотушки. И понять этого Тим не мог.

Да и сводного брата Эрвина он понимал с трудом. Свою братскую любовь тот проявлял весьма странным способом: то кидался щепками для растопки, то мазал Тима сажеей, чернилами или сливовым джемом. И уж совсем непонятно было, почему доставалось за это не Эрвину, а Тиму. Из-за всех этих непонятных вещей, приключившихся с ним на новой квартире в переулке, Тим почти совсем разучился смеяться. Только когда отец бывал дома, звучал еще иногда его тоненький, залиvistый, захлебывающийся смех.

Но чаще всего отца Тима не было дома. Стройка, на которую он нанялся, находилась на другом конце города, и почти все свободное время уходило у него на дорогу. Он и женился-то во второй раз главным образом для того, чтобы Тим не сидел целый день дома один. Только по воскресеньям ему удавалось теперь побыть наедине со своим сыном. В этот день он брал Тима за руку и говорил мачехе:

– Мы пошли гулять.

Но на самом деле он шел вместе с Тимом на ипподром и ставил на какую-нибудь лошадь, совсем немного, мелочишку, то, что удалось скопить за неделю потихоньку от жены. Он мечтал, что в один прекрасный день выиграет целую кучу денег и опять переберется с семьей из узкого переулочка в светлую квартиру. Но, как и многие другие, он напрасно надеялся на

выигрыш. Почти всякий раз он проигрывал, а если и выигрывал, то выигрыша едва хватало на кружку пива, на трамвай да на кулек леденцов для Тима.

Тиму скачки не доставляли особого удовольствия. Лошади и наездники мелькали так далеко и так быстро проносились мимо, а впереди всегда стояло так много людей, что, даже сидя на плечах у отца, он почти ничего не успевал разглядеть.

Но хотя Тиму было мало дела и до лошадей, и до наездников, он очень скоро разобрался в том, что такое скачки. Когда он ехал с отцом домой на трамвае, держа в руках кулек с разноцветными леденцами, это значило, что они выиграли. Когда же отец сажал его на плечи и они отправлялись домой пешком, это значило, что они проиграли.

Тиму было все равно, выиграли они или проиграли. Ему так же весело было сидеть на плечах у отца, как и ехать в трамвае, даже, по правде сказать, еще веселее.

А самое веселое было то, что сегодня воскресенье и они вдвоем, а Эрвин с мачехой далеко-далеко, так далеко, словно их и вовсе нет на свете.

Но, к сожалению, кроме воскресенья, в неделе еще целых шесть дней. И в эти дни Тиму жилось так, как тем детям в сказках, у которых злая мачеха. Только немного похуже, потому что сказка – это сказка, начинается она на первой странице и кончается, ну, скажем, на двенадцатой. А такое вот мучение изо дня в день целый год, да еще не один год, а много лет подряд, – попробуй-ка его вытерпи! Тим так привык упорствовать, дерзить, стоять на своем, что, не будь на свете воскресений, он наверняка – просто из одно-

го упрямства – превратился бы в отпетого сорванца и грубияна. Но так как, к счастью, воскресенья все-таки есть на свете, он остался обыкновенным мальчиком. Даже смех его звучал по-прежнему: он словно подымался откуда-то из глубины и заканчивался счастливым, захлебывающимся смешком.

Правда, его смех раздавался теперь все реже и реже. Тим стал замкнутым и гордым, невероятно гордым. Только так он и мог защищаться от нападок мачехи, пилившей его весь день без передышки, хотя иной раз и без всякого злого умысла.

Тим очень радовался, когда пошел в школу. Теперь он с раннего утра до самого обеда был вдали от своего переуллка – не за полкилометра, а за тридевять земель. Здесь в свой первый учебный год он стал снова часто смеяться, и случалось, учитель, взглянув на него, забывал, за что собирался сделать ему замечание. Теперь Тим и сам старался помириться с мачехой. Стоило ей разок похвалить его за то, что он притащил один полную сумку картошки, и он чувствовал себя совершенно счастливым, становился покладистым и сговорчивым и готов был помогать ей с утра до вечера. Но, получив очередной нагоняй, он опять замыкался, мрачнел и надевал маску гордеца. Тогда к нему было не подступиться.

Ссоры с мачехой сказывались на его школьных занятиях. Тим, хоть и был куда сметливее многих в классе, часто получал отметки хуже других ребят, потому что невнимательно слушал, когда учитель объяснял урок. И еще из-за домашних заданий.

Делать дома уроки ему было очень трудно. Только он садился со своей грифельной доской за кухонный

стол, как появлялась мачеха и прогоняла его в детскую – комнату, где он спал вместе с Эрвином. Но детская была царством его сводного брата, а тот ни на секунду не оставлял Тима в покое: то требовал, чтобы Тим с ним играл, и злился, когда тот отказывался, то расставлял на столе свой конструктор, и Тиму некуда было даже положить тетрадку. Как-то раз Тим, окончательно выведенный из терпения, укусил Эрвина в руку. Это не прошло ему даром. Увидев кровь на руке своего любимца, мачеха принялась вопить, что Тим преступник, коварный злодей, разбойник с большой дороги. Отец не проронил за ужином ни единого слова. С этого дня Тим перестал бороться со сводным братом и готовил уроки, пробравшись тайком в спальню родителей. Но Эрвин выследил его и донес, а одна из заповедей мачехи гласила: «В спальне родителей детям делать нечего!»

Теперь Тиму ничего больше не оставалось, как готовить уроки в обществе Эрвина. Если тот занимал единственный столик, стоявший в комнате, Тим садился на кровать и писал, положив тетрадку на тумбочку. Но сидел ли он за столом или примостившись у тумбочки, он все равно, как ни старался, не мог сосредоточиться на задаче. Только по средам, когда Эрвин ходил в школу во вторую смену, Тиму удавалось сделать уроки так, как ему хотелось. А ему хотелось, чтобы учитель остался им доволен. Да и вообще ему хотелось жить в дружбе и добром согласии со всем миром.

Но, как это ни печально, его домашние работы с каждым годом нравились учителю все меньше и меньше. «Светлая голова, – говорил учитель, – лентяй и совершенно не собран». Как он мог догадаться,

что Тиму приходится каждый день заново отвоевывать себе место для приготовления уроков? Тим не рассказывал ему об этом; он был уверен, что учитель и сам все знает. Так случилось, что и школа подсказала Тиму все тот же грустный вывод: жизнь непонятна, а все взрослые – конечно, за исключением его отца, – несправедливы.

Но и этот единственный справедливый человек его покинул. Через четыре года после того, как Тим в первый раз пошел в школу, – все эти годы он с трудом перебирался из класса в класс, – отец погиб на стройке: на него свалилась доска, упавшая с огромной высоты.

Это было самое непостижимое из всего, что случилось до сих пор в жизни Тима.

Сначала он просто не хотел этому верить. Только в день похорон, когда красная, зареванная мачеха дала ему пощечину за то, что он забыл почистить ее туфли, он вдруг ясно понял, как он теперь одинок.

Ведь сегодня было воскресенье.

В этот день Тим впервые заплакал. Он плакал об отце, и о себе, и о том, как плохо устроен мир, и сквозь плач он услышал, как мачеха в первый раз сказала: «Прости меня, Тим».

Час, проведённый на кладбище, был словно дурной сон, который хочешь поскорее забыть и от которого остается лишь смутное, щемящее чувство. Тим ненавидел всех этих людей, стоявших вокруг него и говоривших что-то, и певших, и читавших молитвы. Его раздражала плаксивая болтовня мачехи, тут же переходившая в причитания, если кто-нибудь приближался к ней, чтобы выразить «глубочайшее собо-

лезнование». Он был один со своим горем и не хотел делить его ни с кем. И как только толпа начала расходиться, он тут же убежал.

Без всякой цели бродил он по улицам, и когда очутился возле городского сада и прошел мимо окон той квартиры, где совсем еще маленьким смеялся и кричал: «Ту-ту-ту!», его охватило такое отчаяние, что ему чуть не стало дурно.

Из окна его прежней комнаты выглянула чужая девочка с нарядной куклой на руках и, заметив, что Тим смотрит в ее сторону, высунула ему язык. Тим быстро пошел дальше.

«Если бы у меня было очень много денег, – думал он, шатаясь по улицам, – я снял бы большую квартиру, у меня была бы там отдельная комната, и каждый день я давал бы Эрвину на карманные расходы, сколько он ни попросит. А мать могла бы покупать себе все, что захочет». Но это были только мечты, и Тим это знал.

Сам того не замечая, он шагал теперь в сторону ипподрома, туда, где проводил когда-то с отцом счастливые воскресенья. Когда отец был еще жив.

## Лист 2

### ГОСПОДИН В КЛЕТЧАТОМ

Тим добрался до ипподрома, когда первый заезд уже близился к концу. Зрители кричали и свистели, выкликая все громче, все чаще одно только имя: «Ветер!»

Тим стоял, с трудом переводя дыхание: во-первых, он только что бежал, а во-вторых, ему вдруг показалось, что где-то тут, среди этих кричащих и аплоди-

рующих людей, стоит и его отец. У него неожиданно возникло чувство, что здесь он у себя дома. Это было то место, где он всегда оставался наедине с отцом. Без мачехи и без Эрвина. Все воскресенья, проведенные с отцом, стоял он в этой толпе, среди шума и выкриков. На душе у Тима стало вдруг удивительно спокойно, почти весело. И когда ликующая толпа внезапно выкрикнула многоголосым хором: «Ветер!» – Тим даже рассмеялся своим звонким, залиvistым смехом. Он вспомнил, как отец однажды сказал: «Ветер еще слишком молод, Тим. Но вот увидишь, придет день, когда о нем заговорят».

И сегодня о нем заговорили. Но отец этого уже не услышит. Тим и сам не знал, чему он рассмеялся, но он и не задумывался над этим. Он был еще не в том возрасте, когда люди много размышляют о самих себе и о своих поступках.

Какой-то человек, стоявший неподалеку от Тима, услышав его смех, резко повернул голову и принялся внимательно его разглядывать, задумчиво поглаживая рукой свой длинный подбородок. Затем, словно внезапно решившись, он направился прямо к Тиму, но, приблизившись к нему, быстро прошел мимо, наступив ему при этом на ногу.

– Прости, малыш, – сказал он, не останавливаясь, – я нечаянно!

– Ничего, – улыбнулся Тим, – все равно у меня ботинки грязные.

Говоря это, он взглянул себе под ноги и вдруг увидел в траве блестящую монету в пять марок. Человек быстрым шагом уходил все дальше и дальше; близости никого больше не было. Тим поспешно насту-

пил на монету, оглянулся по сторонам и, сделав вид, что хочет завязать шнурок, украдкой поднял ее и сунил в карман.

Потом, стараясь идти как можно медленней, он побрел в сторону выхода. Вдруг какой-то длинный худощавый господин в клетчатом костюме остановил его и спросил:

– Ну, что, Тим, хочешь поставить на какую-нибудь лошадку?

Мальчик растерянно взглянул на незнакомца. Он и не заметил, что это тот же самый человек, который всего несколько минут тому назад наступил ему на ногу. Рот у незнакомца был словно узенькая полосочка, нос – тонкий, крючковатый, а под носом – черные усики. Из-под клетчатой кепки, низко надвинутой на лоб, глядели колючие водянисто-голубые глаза.

Когда этот человек неожиданно обратился к Тиму, тот почувствовал, что у него пересохло в горле.

– Я... У меня нет денег... – выговорил он наконец, запинаясь.

– Нет, есть. Пять марок, – сказал незнакомец. И, словно между прочим, добавил: – Я случайно видел, как ты нашел монету. Если ты собираешься ставить на какую-нибудь лошадь, бери-ка вот эту квитанцию. Я ее уже заполнил. Абсолютно верный выигрыш!

Тим слушал его, то краснея, то бледнея, потом понемногу пришел в себя, и лицо его снова приняло свой обычный смуглый оттенок. (Цвет лица он унаследовал от матери.)

– Детям ведь, кажется, не разрешается играть на скачках, – проговорил он наконец и снова запнулся.

Но незнакомец не отставал.



– Этот ипподром, – заявил он, – один из немногих, где не так уж строго придерживаются этого правила. Не то чтобы это разрешалось официально, но здесь на это смотрят сквозь пальцы. Так что же ты думаешь о моем предложении, Тим?

– Я вас совсем не знаю, – тихо ответил Тим. Только сейчас он заметил, что господин этот называет его по имени.

– Зато я о тебе много чего знаю, – сказал незнакомец. – Ведь я встречался с твоим отцом.

Это решило дело. Правда, у Тима как-то плохо укладывалось в голове, что отец его водил знакомство с таким странным, хорошо одетым господином; но раз незнакомец знает, как зовут Тима, значит, уж каким-то образом он был знаком с его отцом.

Постояв еще немного в нерешительности, Тим взял заполненную квитанцию и, достав из кармана свою монету, пошел к кассе.

В этот момент громкоговоритель объявил, что начинается второй заезд.

Незнакомец крикнул:

– Давай скорее, пока не закрыли окошка! Вот увидишь, я принесу тебе счастье!

Тим протянул кассирше деньги и квитанцию, получил отрывной талончик и обернулся, ища глазами господина в клетчатом. Но тот уже исчез.

Второй заезд кончился, и лошадь, на которую поставил Тим, пришла к финишу первой, на три корпуса обойдя другую.

Тим получил в окошке свой выигрыш: такой кучи ассигнаций он никогда еще не видел. И опять то краснея, то бледнея, только на этот раз от радости и

гордости, стоял Тим у кассы и с сияющими от счастья глазами показывал всем любопытным выигранные деньги.

Радость и горе всегда живут рядом. На Тима вдруг снова нахлынули воспоминания об отце, которого сегодня похоронили: никогда он не выигрывал столько денег! Слезы сами потекли по лицу Тима, и он расплакался у всех на глазах.

– Э, парень, кому привалило такое счастье, тому уж хныкать нечего, – раздался вдруг у него над ухом скрипучий голос.

Тим увидел сквозь слезы человека в помятом костюме и с помятым лицом. Слева от него какой-то рыжий верзила с высоты своего роста внимательно разглядывал Тима. Справа стоял низенький, лысый, элегантно одетый господин; он смотрел на Тима с живым участием.

Все трое, казалось, держались вместе; во всяком случае, они в один голос спросили, не хочет ли Тим выпить вместе с ними лимонаду, чтобы отпраздновать выигрыш.

Тим, пораженный такой доброжелательностью не меньше, чем счастьем, неожиданно выпавшим на его долю, кивнул в знак согласия и, всхлипнув еще разок, сказал:

– Я хотел бы посидеть за столиком вон там, в саду. – Сколько раз он сидел здесь с отцом и пил лимонад!

– Хорошо, малыш, в саду так в саду, – опять сказали в один голос все трое.

И через минуту они уже сидели вместе с Тимом за столиком в тени большого каштана.

Господин в клетчатом, который принес Тиму счастье, больше не появлялся, и вскоре Тим совсем позабыл о нем, тем более что трое новых приятелей, заказав себе пива, а мальчику – лимонаду, принялись развлекать виновника торжества удивительно забавными фокусами. Рыжий верзила, поставив себе на нос стакан с пивом, долго балансировал с ним, не пролив при этом ни капли; человек в помятом костюме и с помятым лицом всякий раз вытаскивал из колоды ту самую карту, которую наобум называл Тим, а низенький лысый господин проделывал всевозможные смешные штуки с деньгами Тима. Он заворачивал их в носовой платок, свертывал платок в комочек, потом расправлял, и... платок оказывался пустым.

Лысый хихикал и говорил:

– А теперь, мальчик, сунь-ка руку в левый карман твоей курточки!

Тим лез в карман и, к своему изумлению, находил там все свои деньги.

Да, это было удивительное воскресенье! Еще три часа тому назад Тим, бесконечно несчастный, бродил один по городу, а теперь он то и дело смеялся, да так весело, как уж давно не смеялся, даже несколько раз подавился от смеха лимонадом. Его новые товарищи необычайно нравились ему. Он был горд, что нашел себе настоящих друзей, да еще с такими редкими профессиями: «помятый» оказался чеканщиком монет, рыжий – кошелечных дел мастером, а лысый – специалистом по каким-то кассовым книгам (Тим не совсем его понял).

Когда Тим попытался было широким жестом оплатить счет, принесенный кельнером, все трое, улыба-

ясь, решительно замахали на него руками. Низенький лысый господин сам заплатил за все, в том числе и за лимонад, выпитый Тимом; и, когда Тим распрощался со своими новыми друзьями, в кармане его лежал нетронутым весь выигрыш.

Тим собирался уже вскочить в трамвай, как вдруг столкнулся носом к носу с господином в клетчатом. Без всякого предисловия тот заявил:

– Эх, Тим, Тим, ну и глупый же ты мальчик! Теперь у тебя не осталось ни гроша!

– Ошибаетесь, господин, – рассмеялся Тим. – Вот мой выигрыш!

Он вытащил из кармана пачку денег, показал ее незнакомцу и, немного помолчав, добавил:

– Они ваши.

– Деньги, которые ты держишь в руке, – презрительно сказал незнакомец, – просто разноцветные бумажки. Они ничего не стоят!

– Я получил их в кассе! – крикнул Тим. – Это уж совершенно точно!

– В кассе, дружок, ты получил настоящие деньги. А эта троица, с которой ты сидел в саду, наверняка обменяла их на фальшивые. Я их хорошо знаю. Жаль, я слишком поздно увидел тебя в их компании. Только я хотел подойти, а их уже и след простыл. Ведь это самые обыкновенные мошенники!

– Ошибаетесь, господин! Один из них – кошелечных дел мастер...

– Ну ясно, ворует кошельки!

– Ворует кошельки? – растерянно переспросил Тим. – А что же тогда делает чеканщик?

– Печатает фальшивые деньги. Он фальшивомонетчик.

— А третий? Специалист по кассовым книгам?..

— Этот продает здесь поддельные талоны. Короче говоря, мошенничает на скачках!

Нет, Тим не хотел этому верить. Тогда господин в клетчатом достал из своего бумажника ассигнацию и сравнил ее с ассигнацией Тима. И правда, ни на одной из ассигнаций Тима, сколько Тим ни смотрел через них на свет, нельзя было отыскать водяных знаков.

Тим удрученно кивнул. И вдруг, швырнув бумажки на землю, принялся в бешенстве топтать их ногами. Какой-то старичок, проходивший мимо, удивленно взглянул сперва на Тима, потом на деньги, потом на господина в клетчатом и вдруг бросился бежать, словно увидел черта.

Господин в клетчатом немного помолчал, потом вытащил из кармана монету в пять марок и, протянув ее ошарашенному Тиму, предложил ему прийти сюда снова в следующее воскресенье. Затем он поспешно удалился.

«Интересно, почему он сам не играет на скачках?» — подумал Тим. Но тут же забыл про этот вопрос и, сунув деньги в карман, пошел пешком домой — в свой переулок. Фальшивые деньги так и остались валяться на земле.

Мачеха, как ни странно, на этот раз не отлупила Тима, хотя он удрал с похорон и так поздно вернулся домой. Она только оставила его без ужина и, не сказав ни слова, тут же отправила спать. Зато Эрвину было разрешено сегодня лечь попозже и посидеть еще немного с гостями; гости молча проводили Тима неприязненными взглядами.

За этим странным воскресеньем последовала длинная печальная неделя. Тим, как всегда, получал затрецины и колотушки дома и еще чаще, чем всегда, замечания и предупреждения в школе. И все время он раздумывал над тем, идти ли ему в воскресенье на ипподром или остаться дома. Монету он спрятал – засунул в щель в стене соседнего дома, чтобы ее случайно не нашел Эрвин. И всякий раз, проходя мимо этого дома, он невольно улыбался: мысль, что ему, может быть, еще раз посчастливится выиграть на скачках, доставляла ему тайную радость.

### Лист 3

#### ВЫИГРЫШ И ПРОИГРЫШ

Когда наступило долгожданное воскресенье, Тим знал уже с самого утра, что после обеда пойдет на скачки. Не успели старинные часы в гостиной пробить три раза, как он потихоньку выскользнул за дверь, выковырял из щели в стене соседнего дома свою монету и со всех ног помчался на ипподром.

У входа он с разбегу налетел на какого-то человека, и человек этот оказался не кем иным, как господином в клетчатом.

– Оп-ля! – воскликнул господин в клетчатом. – Ты, я вижу, еле дождался!

– Ой, извините, пожалуйста! – запыхавшись, пробормотал Тим.

– Ничего, малыш! А я тебя тут как раз дожидаясь. Вот получи-ка квитанцию. Пять марок не потерял?

Тим отрицательно покачал головой и достал из кармана монету.

– Молодец! Тогда иди к окошку. Если выиграешь, подожди меня потом здесь у входа. Я хочу с тобой кое о чем побеседовать.

– Хорошо!

Тим снова поставил на ту лошадь, имя которой написал в квитанции незнакомец, и, когда скачки кончились, оказалось, что он, как и в прошлое воскресенье, выиграл целую кучу денег.

На этот раз он быстро отошел от кассы, никому не показав своего выигрыша. Ассигнации он засунул во внутренний карман куртки и, стараясь придать своему лицу выражение полного равнодушия, поспешно покинул ипподром через дырку в заборе. Ему не хотелось встречаться с господином в клетчатом: при виде этого человека ему всякий раз становилось как-то не по себе. И потом, ведь незнакомец сам подарил ему квитанцию и деньги. Значит, Тим ничего ему не должен.

Сразу за ипподромом находился луг, и на нем росло несколько высоких дубов. Тим лег на траву под самым большим дубом и стал думать о том, что ему делать со своим богатством. Хорошо бы оно помогло ему подружиться со всеми – с мачехой, и с братом, и с учителем, и с товарищами по школе. А отцу он поставит мраморную плиту на могилу, и на ней будет надпись золотыми буквами: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не забудет».

Если останутся деньги, Тим купит себе самокат, как у сына булочника, – с гудком и надувными шинами.

Он все грезил и грезил наяву, пока наконец не уснул.

О господине в клетчатом Тим так больше ни разу и не вспомнил. Если бы он увидел его сейчас, то наверняка бы очень удивился: странный незнакомец беседовал с тремя жуликами, которые в прошлое воскресенье угощали Тима лимонадом.

Но, к счастью, или, вернее, к несчастью, Тим этого не видел. Он спал.

Его разбудил резкий голос – голос господина в клетчатом. Он стоял здесь, под дубом, рядом с Тимом. Глядя на Тима в упор, он спросил не слишком приветливо:

– Ну что, выспался?

Тим кивнул, еще не совсем проснувшись, приподнялся и на всякий случай ощупал снаружи внутренний карман своей куртки. Карман показался ему странно пустым. Тим быстро сунул в него руку и вдруг окончательно проснулся: карман и в самом деле был пуст – деньги исчезли.

Господин в клетчатом насмешливо прищурился.

– А де-де-деньги у вас? – запинаясь, пробормотал Тим.

– Ну нет, соня! Деньги у одного из троих мошенников, с которыми ты кутил в прошлое воскресенье. Он тебя выследил. Видно, такая уж у меня судьба: всегда я прихожу слишком поздно! Только он меня завидел, сразу пустился наутек. Так-то мне и удалось тебя обнаружить.

– В какую сторону он побежал? Надо позвать полицию!

– Не очень-то я уважаю этих голубчиков... – Незнакомец поморщился. – На мой вкус, они слишком плохо воспитаны. А жулик все равно уже успел удрать за тридевять земель. Ну, а теперь вставай-ка,



братец, да отправляйся домой. В следующее воскресенье придешь опять!

– Я, наверное, больше не приду, – сказал Тим. – Так не бывает, чтобы все везло да везло. Это мне отец говорил.

– Счастье и беда всегда приходят трижды. Слышал такую поговорку? А ты ведь наверняка хотел себе что-нибудь купить, правда?

Тим кивнул.

– Ну вот. И все это у тебя будет, если ты опять придешь сюда в воскресенье и заключишь со мной одну сделку.

Незнакомец взглянул на часы и вдруг заторопился.

– До следующего воскресенья! – поспешно сказал он. И быстро пошел прочь.

Тим медленно побрел в сторону своего переуллка; в голове у него был полный сумбур.

Мачеха, как всегда, задала ему трепку; сводный брат, как всегда, злорадствовал.

И опять потянулась длинная неделя.

Но в эту неделю Тим не унывал. Хотя господин в клетчатом и не вызывал у него особого доверия, он твердо решил заключить с ним сделку. Потому что сделка, думал Тим, – это что-то вполне солидное и законное, не то что состояние, выигранное на подобранную монетку. Тут каждый что-то дает и получает что-то взамен. И каждый оказывается в выигрыше. Может, конечно, показаться странным, что мальчик из пятого класса размышлял о подобных вещах, но в узких переулках, где взрослым волей-неволей приходится считать каждую копейку, дети рано начинают серьезно относиться к деньгам.

Мысль о воскресенье помогла Тиму справиться со всеми неприятностями и огорчениями недели. Иногда ему думалось, что, может быть, это отец попросил господина в клетчатом последить за сыном и помочь ему, если с ним что-нибудь случится. Но потом ему приходило в голову, что отец, наверное, выбрал бы для такого поручения кого-нибудь посимпатичнее.

Так или иначе, Тим был вполне готов заключить сделку с незнакомцем; мало того, эта сделка его очень радовала. Он снова стал часто смеяться своим прежним детским смехом, и смех его всем нравился. У него вдруг появилось множество друзей – гораздо больше, чем когда-либо раньше.

Странно: чего только он прежде не делал, чтобы добиться дружбы, каких только не прилагал усилий! Добровольно брался за любые поручения, помогал всем и во всем... А теперь каждый сам хотел стать его другом. И право же, он ничего для этого не предпринимал, только смеялся. Теперь ему охотно прощали все то, за что раньше бранили. Один раз, например, на уроке арифметики Тиму вспомнилось, как он налетел второпях на господина в клетчатом, и он вдруг рассмеялся своим звонким, заливистым, захлебывающимся смехом. И тут же испуганно зажал рот рукой. Но учителю и в голову не пришло рассердиться. Смех прозвучал так весело и забавно, что расхохотался весь класс, а вместе с ним и учитель. Потом учитель поднял палец вверх и сказал: «Из всех взрывов я признаю только взрывы смеха, Тим. И то не на уроке!..»

С тех пор Тима прозвали «взрывным», и многие ребята не хотели ни с кем, кроме него, играть на пе-

ременке. Даже на мачеху и Эрвина действовал заразительный смех Тима – теперь и они иногда смеялись.

В общем, с Тимом творилось что-то непонятное, и виною тому был господин в клетчатом. Но Тим не отдавал себе в этом отчета. Как ни велик был горький опыт, вынесенный им из жизни в узком переулке, он все равно оставался простодушным и доверчивым мальчиком. Он и не замечал, как нравится всем его смех; он забыл, что со дня смерти отца прятал от всех свой смех, как скряга – сокровища. Он просто думал, что после всех злоключений на ипподроме стал намного умнее и научился отлично ладить с людьми. А ведь если бы он уже тогда знал, как дорог его смех, ему не пришлось бы, быть может, вытерпеть столько бед.

Однажды, возвращаясь из школы, Тим повстречался на улице с господином в клетчатом. Как раз за минуту до этого Тим следил за шмелем, кружившим над ухом спящей кошки; шмель, словно маленький самолет, выбирал место, чтобы приземлиться. Это выглядело так забавно, что Тим громко рассмеялся. Но как только он узнал незнакомца с ипподрома, всю его веселость словно рукой сняло. Вежливо поклонившись, он сказал:

– Добрый день!

Однако незнакомец сделал вид, будто не заметил Тима. Он только буркнул, проходя мимо:

– На улице мы незнакомы!

И, не оглядываясь, пошел дальше. «Наверное, так надо для заключения сделки», – подумал Тим. И тут же снова рассмеялся, потому что кошка, проснувшись, испуганно дернула ухом, на котором сидел

шмель. Рассерженно жужжа, маленький самолет полетел прочь, а Тим, насвистывая, свернул в свой переулок.

#### Лист 4

### ПРОДАННЫЙ СМЕХ

В это воскресенье Тим хотел поскорее улизнуть из дому и пораньше прийти на ипподром. Но около половины третьего взгляд мачехи случайно упал на календарь, висевший на стене, и она вдруг вспомнила, что сегодня годовщина ее свадьбы: как раз в этот день она вышла замуж за отца Тима.

Она немного всплакнула (теперь это случалось с ней частенько), и вдруг оказалось, что дел по горло: надо отнести цветы на могилу, сбегать в булочную за тортом, намолоть кофе и пригласить соседку, переодеться, а значит, сначала погладить платье; Тиму было приказано вычистить всю обувь, а Эрвину идти за цветами.

Тиму очень хотелось, чтобы ему поручили отнести цветы на могилу отца. Если бы он поторопился, то поспел бы еще к началу скачек. Но когда мачеха была чем-нибудь расстроена (а она теперь только и делала, что расстраивалась), она не терпела никаких возражений: если ей перечили, она расстраивалась еще больше и с громким плачем валилась в кресло, так что в конце концов все равно приходилось ей уступать. Поэтому Тим и не пытался ей возражать и покорно отправился в булочную.

– Стучись с черного хода! Три раза! Скажи, очень важное дело!

Хозяйка булочной встретила Тима хмуро, но это его не обескуражило. («Пусть ворчит сколько влезет... Смотри, не уходи с пустыми руками!.. С места не сходи, пока старая карга тебе не отпустит!..»)

Тим передал заказ мачехи в точности. («Шесть кусков орехового торта!.. Пусть отрежет от самого свежего!»)

К своему огорчению, он услышал от хозяйки булочной ответ, к которому мачеха его совсем не подготовила. Фрау Бебер – так звали булочницу – сказала:

– Сперва надо расплатиться за старое, а тогда уж я опять начну записывать в долг. Так и передай дома. У кого нет денег, может и без тортов обойтись. Так и скажи! На двадцать шесть марок сдобы накупили! Интересно, кто это у вас там все поедает?! Для директора водокачки и то столько не заказывают! А уж у них-то в семье любят полакомиться – кому-кому, а мне это хорошо известно!

Тим онемел от удивления. Правда, изредка он получал от мачехи кусочек кренделя или коврижки. Но... на двадцать шесть марок сдобы! Да ведь это целые горы! Пирогов, пирожных, печенья, плюшек! Неужели мачеха съедает все это тайком от него и от Эрвина, когда соседка приходит к ней пить кофе? Он знал, что приятельницы часто болтают на кухне, когда они с Эрвином уходят в школу. А может, это Эрвин тайно наведывается сюда за пирожками?

– Это мой брат покупает у вас в долг пироги? – спросил Тим.

– Бывает, что и он, – буркнула фрау Бебер. – Но чаще всего сдобу берет к завтраку твоя мать. Ах да,

ведь она тебе, кажется, мачеха... Да ты никак ничего об этом не знаешь?

– Нет, почему же, – поспешно возразил Тим, – конечно, знаю!

Но на самом деле он ничего не знал. Эта новость не возмутила его и даже не рассердила. Ему только стало грустно, что мачеха лакомится потихоньку от него и от брата, а долг все растет.

– Так-то, – сказала фрау Бебер, давая понять, что разговор окончен, – а теперь отправляйся-ка домой и передай, что я тебе велела. Понял?

Но Тим не двигался с места.

– Сегодня, – сказал Тим, – годовщина того дня, как отец женился на матери, то есть на мачехе. А потом... – Тим вдруг вспомнил про сделку, которую он заключит сегодня на ипподроме с господином в клетчатом, и поспешно добавил: – А потом, фрау Бебер, я отдам вам деньги сегодня вечером. И за ореховый торт тоже. Это уж точно!

– Сегодня вечером?

Фрау Бебер постояла с минуту в нерешительности, но в голосе Тима было что-то такое, что ее убедило. Ей почему-то вдруг показалось, что он обязательно вернет ей сегодня вечером весь долг. Или хотя бы часть.

Для верности она все-таки спросила:

– А где ты возьмешь деньги?

Тим соорудил мрачную гримасу, словно разбойник на сцене, и ответил басом:

– Украду, фрау Бебер! У директора водокачки!

Он так похоже изобразил разбойника, что фрау Бебер рассмеялась, подобрела и отпустила ему шесть

кусков орехового торта, да еще и седьмой в придачу – просто так, бесплатно.

Мачеха стояла в дверях, с нетерпением дожидаясь Тима. Казалось, она все еще (а может быть, уже опять) была чем-то расстроена. И не успел Тим подойти, как она затараторила без передышки:

– Лучше бы уж я сама пошла! Ореховый торт принес? А про долг она что-нибудь говорила? Да что же ты молчишь?

Тим скорее откусил бы себе язык, чем передал ей свой разговор с фрау Бебер. Кроме того, он спешил на скачки, а для объяснений с мачехой потребовалось бы немало времени.

– Она мне один кусок даром дала. Можно, я пойду играть, ма? (Ему еще ни разу не удалось выговорить до конца слово «мама».)

Мачеха тут же разрешила ему идти и даже дала на дорогу кусок торта.

– Какой тебе интерес слушать наши пересуды! Иди-ка лучше поиграй! Только смотри возвращайся вовремя! Не позже шести!

Тим со всех ног помчался на ипподром, жуя на ходу торт. Всего лишь три капли крема упали по дороге на землю, да одна на воскресные синие штаны.

Господин в клетчатом стоял у входа. Хотя первый заезд давно начался, он не проявлял ни малейшего нетерпения и был, казалось, совершенно спокоен. Сегодня он выглядел приветливей, чем обычно. Он пригласил Тима выпить с ним лимонаду в саду за столиком и съесть кусок орехового торта. «Видно, такое уж сегодня воскресенье, – решил Тим. – Что ни шаг, то кусок торта».

Между тем незнакомец с убийственно серьезным лицом отпускал такие забавные шутки, что Тим то и дело покатывался со смеху.

«А все-таки он приятный человек, – подумал Тим. – Теперь я понимаю, почему отец с ним дружил».

Незнакомец приветливо смотрел на него ласковыми карими глазами. Будь Тим чуть-чуть понаблюдательней, он бы вспомнил, что еще в прошлое воскресенье у господина в клетчатом были водянисто-голубые глаза, холодные, как у рыбы. Но Тим не отличался особой наблюдательностью. Жизнь еще мало чему его научила.

Наконец господин в клетчатом заговорил о сделке.

– Дорогой Тим, – начал он, – я хочу предложить тебе столько денег, сколько ты пожелаешь. Я не мог бы выложить их на стол, отсчитать звонкой монетой. Но я могу наградить тебя способностью выигрывать любое пари! Любое!.. Понял?

Тим понуро кивнул, но слушал он очень внимательно.

– Разумеется, не задаром. Все имеет свою цену.

Тим снова кивнул. Потом срывающимся голосом спросил:

– А что вы за это хотите?

Незнакомец немного помедлил, в раздумье глядя на Тима.

– Тебя интересует, что я за это хочу?

Он растягивал слова, как жевательную резинку. И вдруг слова посыпались скороговоркой – теперь их едва можно было разобрать:

– Я хочу за это твой смех!

Как видно, он и сам заметил, что говорит слишком быстро, и потому повторил:



– Я хочу за это твой смех!

– И это все? – смеясь, спросил Тим.

Но карие глаза поглядели на него с каким-то странным, грустным выражением, и смех его оборвался – не хватало счастливого, захлебывающегося смешка.

– Ну так как же? – спросил господин в клетчатом. – Ты согласен?

Взгляд Тима случайно упал на тарелку с куском орехового торта. Ему вспомнилась фрау Бебер, долг и все то, что он собирался купить, если бы у него было много денег. И он сказал:

– Если это честная сделка, я согласен.

– Ну что ж, мой мальчик, тогда нам остается только подписать контракт!

Господин в клетчатом вытащил из внутреннего кармана пиджака какую-то бумагу, развернул ее, положил на стол перед Тимом и сказал:

– Ну-ка, прочти это внимательно! И Тим прочел:

*1. Этот контракт заключен ... числа ... года между господином Ч. Тречем, с одной стороны, и господином Тимом Талером, с другой, и подписывается обеими сторонами в двух экземплярах.*

– А что такое «обеими сторонами»? – спросил Тим.

– Так называются участники контракта.

– А-а-а!

Тим стал читать дальше:

*2. Господин Тим Талер передает свой смех в полное распоряжение господина Ч. Треча.*

Когда Тим во второй раз прочитал слова «господин Тим Талер», он показался сам себе почти совсем взрослым. Уже ради одних этих слов он готов был

подписать контракт. Он и не подозревал, что этот небольшой второй пункт изменит всю его жизнь. Потом он прочел дальше:

*3. В порядке вознаграждения за смех господин Ч. Треч обязуется позаботиться о том, чтобы господин Тим Галер выигрывал любое пари. Этот пункт не имеет никаких ограничений.*

Сердце Тима забилося сильнее. Дальше:

*4. Обе стороны обязуются хранить полное молчание о настоящем соглашении.*

Тим кивнул.

*5. В случае если одна из сторон упомянет кому-либо третьему лицу об этом контракте и нарушит оговоренное в пункте 4-м условие о сохранении тайны, другая сторона навсегда сохраняет за собою право: а) смеяться или б) выигрывать пари, в то время как сторона, нарушившая условие, окончательно теряет право: а) на смех или б) на выигрывание пари.*

– Этого я не понял, – сказал Тим, наморщив лоб.

Господин Ч. Треч – наконец-то мы узнали его имя! – объяснил ему:

– Видишь ли, Тим, если ты нарушишь условие о сохранении тайны и расскажешь кому-нибудь об этом контракте, ты тут же потеряешь способность выигрывать пари, но и смеха своего назад уже не получишь. Если же, наоборот, я расскажу об этом кому-нибудь, ты получишь назад свой смех и при этом сохранишь способность выигрывать пари.

– Понятно, – сказал Тим, – молчать – это значит быть богатым, но никогда не смеяться. А прогово-

риться – это снова стать бедным и все равно не смеяться.

– Совершенно верно, Тим! Ну, читай-ка дальше.

*6. В случае, если господин Тим Талер проиграет какое-нибудь пари, господин Ч. Треч обязуется возвратить господину Талеру его смех. Но при этом господин Тим Талер теряет в дальнейшем способность выигрывать пари.*

– Тут вот в чем дело... – хотел было объяснить Треч. Но Тим уже и так все понял. Поэтому он перебил его:

– Я знаю! Если я когда-нибудь проиграю пари, я получу назад свой смех, но больше никогда уже не буду выигрывать.

Он поспешно прочел последний пункт контракта:

*7. Это соглашение вступает в действие с того момента, как обе стороны поставят свою подпись под двумя экземплярами ... числа ... года.*

Слева уже стояла подпись господина Треча. И Тим нашел, что это вполне порядочный и честный контракт. Он достал огрызок карандаша из кармана и хотел было подписать бумагу справа. Но господин Треч отстранил его руку.

– Подписывать надо чернилами, – сказал он и протянул Тиму авторучку, сделанную, судя по цвету, из чистого золота.

На ощупь она казалась какой-то странно теплой, словно была наполнена комнатной водой. Но Тим не обратил на это никакого внимания. Он думал сейчас только об одном – о своем будущем богатстве – и смело поставил свою подпись под двумя экземплярами. Красными чернилами.

И не успел он подписать, как господин Треч улыбнулся самой очаровательной улыбкой и сказал:

– Большое спасибо!

– Пожалуйста, – ответил Тим и тоже хотел улыбнуться, но не смог изобразить на своем лице даже кривой усмешки. Губы его были крепко сжаты, и разжать их он был не в силах: его рот превратился в узенькую полосочку.

Господин Треч взял один из экземпляров контракта, аккуратно сложил его вчетверо и положил во внутренний карман пиджака. Другой экземпляр он протянул Тиму:

– Спрячь его хорошенько! Если контракт из-за твоей небрежности попадет кому-нибудь на глаза – значит, ты нарушил условие о сохранении тайны. Тогда тебе плохо придется!

Тим кивнул, тоже сложил свой экземпляр вчетверо и сунул его под подкладку фуражки – с одной стороны она немного отпоролась. Затем господин в клетчатом положил перед ним на стол две монеты по пять марок и сказал:

– А вот и фундамент твоего богатства.

И весело рассмеялся – смехом Тима. Потом он вдруг заторопился – подозвал официантку, уплатил по счету, встал и поспешно сказал:

– Ну, желаю успеха!

И удалился.

Теперь и Тиму надо было спешить, чтобы успеть поставить на какую-нибудь лошадь, – начинался последний заезд. Он подошел к окошку, взял квитанцию и недолго думая написал на ней имя: «Маури-

ция». Если контракт в его фуражке настоящий, эта лошадь все равно придет первой.

И Мауриция пришла первой.

Тим, поставивший в этот раз целых десять марок, получил в кассе множество ассигнаций – по двадцать, пятьдесят и даже по сто марок. Стараясь, чтобы никто этого не заметил, он спрятал деньги в карман своей куртки и быстро покинул ипподром.

## Лист 7

### БЕДНЫЙ БОГАЧ

Теперь Тиму приходилось каждое воскресенье отправляться с мачехой и Эрвином на ипподром. Он делал это нехотя и иногда даже притворялся больным. Изредка ему удавалось улизнуть в воскресное утро из дому, и тогда он являлся домой поздно вечером. В такие дни мачеха с Эрвином ходили на скачки без него. Но им не везло. Если они и выигрывали, то не больше нескольких марок.

Поэтому Тиму приходилось в следующее воскресенье снова идти вместе с ними и с каждым разом все увеличивать ставку. Вскоре он сделался самым знаменитым человеком на ипподроме – его там, как говорится, знала каждая собака. Везенье его вошло в поговорку. О тех, кто часто выигрывал, говорили: «Везет, как Тиму!»

Тим быстро сообразил, что ему лучше выигрывать не всегда одинаково – когда побольше, а когда и поменьше, – и часто ему удавалось это подстроить. Если он ставил на знаменитого рысака, на которого ставили и многие другие, выигрыш был не так уж велик; если же выбирал какую-нибудь захудалую лошаден-

ку, на которую почти никто не решался поставить, то выигрывал огромные суммы.

Мачеха, заявившая вначале, что все выигранные деньги принадлежат Тиму, а она только распоряжается ими как его опекуна, вскоре заговорила о «наших выигрышах», о «наших деньгах», о «нашем лицевом счете в банке». Тим получал от нее всего лишь несколько марок на карманные расходы, и все же ему удалось понемногу скопить на мраморную плиту. Эти деньги Тим решил отложить. Он обменял серебро и медь на ассигнации и спрятал их в большие старинные часы, так как случайно сделал открытие, что подставка у этих часов с двойным дном.

Мачехе неожиданное богатство словно в голову ударило. Очень скоро у нее оказалось ровно столько врагов, сколько было жителей в узком переулке. Своей бывшей подруге, с которой она когда-то пила по утрам на кухне кофе, она заявила прямо в лицо, что та слишком плохо одета и с ней стыдно показаться на улице. (Подарить подруге новое платье, ей, разумеется, и в голову не пришло.) Пирог, торты и коврижки фрау Бебер она ругала каждому встречному и поперечному и покупала теперь дорогое печенье и пирожные в кондитерской в центре города. (То, что фрау Бебер отпускала ей прежде целые горы сдобы в долг, разумеется, выпало у нее из памяти.)

Эрвин, которому фрау Талер всякий раз старалась потихоньку подсунуть еще немного денег на карманные расходы, разыгрывал мальчика из богатой семьи. Он носил полуботинки на чудовищно толстой подметке, длинные брюки и очень яркие галстуки.

Кроме того, он потихоньку курил и изображал из себя знатока лошадей.

Только Тим втайне проклинал богатство, виновником которого был сам. Часами бродил он теперь в отдаленных кварталах большого города, надеясь встретить господина в клетчатом. Может быть, Треч согласится вернуть ему его смех, если Тим навсегда откажется от богатства? Но Треча нигде не было.

Господин в клетчатом, однако, не терял Тима из виду. Время от времени по кварталу, где жил Тим, проезжал роскошный автомобиль, и в нем, откинувшись на кожаные подушки, сидел господин в клетчатом кепи. Заметив на улице Тима, он приказывал шоферу остановиться и с озабоченным, почти боязливым выражением лица наблюдал за мальчиком. Этот господин позаботился и о том, чтобы в квартиру Тима попал календарь, где рядом с рекламными стишками, воспевающими кофе, какао и масло, были приведены изречения знаменитых людей. На первой странице календаря можно было прочесть:

*К контракту надо относиться, как к браку: сначала взвесить все «за» и «против», а потом хранить верность.*

Ч. Треч.

К счастью для Тима, мачеха оторвала и припрятала этот листок, потому что на оборотной стороне его было напечатано объяснение судеб по звездам. Она родилась под созвездием Скорпиона.

Тяжелее всего Тиму было то, что очень скоро к нему стали враждебно относиться в переулке. Серьезное выражение лица соседи принимали за признак высокомерия и зазнайства и решили между собой,

что мачеха, Эрвин и Тим – одного поля ягоды. «Выскачки!» – только так их теперь и называли.

Поэтому никто так не радовался, как Тим, — насколько он вообще мог еще радоваться, — когда мачеха сняла квартиру в богатом квартале и они переехали из переулка в большой дом на широкой улице.

Мебель, разумеется, только старую — мачеха раздала соседям по переулку — тем немногим, с кем она еще разговаривала. Она хотела подарить и большие старинные часы, в которых были спрятаны сбережения Тима, но, к счастью, Тим вовремя услышал об этом и попросил ее разрешить ему поставить часы в своей будущей комнате на новой квартире. Он просил об этом так горячо, что мачеха наконец согласилась, она была скорее удивлена, чем рассержена. Так сейф, отбивающий время, оказался вместе с Тимом в его собственной отдельной комнате, где он впервые в жизни мог без всякой помехи готовить уроки.

Мачеха, поселившись в новой квартире, наняла прислугу. Но ни одна прислуга не могла с ней ужиться. За Марией последовала Берта, за Бертой — Клара, Клару сменила Иоганна, и, наконец, когда Иоганна ушла, появилась пожилая женщина по имени Грит. Она сумела продержаться дольше всех, потому что не спускала мачехе ни одного слова и, когда та ее ругала, огрызалась в ответ.

Так они то ссорились, то мирились, а годы шли, пока наконец Тиму не исполнилось четырнадцать лет. Теперь пора было подумать, какую профессию ему избрать.

Мачеха настаивала и даже требовала, чтобы Тим поступил учеником в контору при ипподроме. Это



имело свои причины: год назад, как раз в тот день, когда Тиму исполнилось тринадцать лет, он поставил большую сумму на лошадь, которую только из милости в последний раз допустили к скачкам. Ни один человек, кроме Тима, не решился на нее ставить. Но раз на нее поставил Тим, лошадь, к изумлению всех знатоков, пришла первой. Тим получил в окошке тридцать тысяч марок. После этого выигрыша он объявил мачехе, что теперь они достаточно богаты и больше он не будет играть на скачках. Ни слезы, ни побои не могли изменить его решения. С этого дня он больше ни разу не был на ипподроме.

И вот теперь мачеха надеялась, что Тим снова почувствует вкус к скачкам, если поступит учеником в контору при ипподроме. Она даже вступила в переговоры с самым богатым в городе устроителем скачек. Но Тим упрямылся и говорил, что хочет пойти в моряки и отправиться в плавание и никогда больше не играть на скачках.

Однажды – это было через несколько дней после того, как Тим окончил школу, – мачеха снова завела свой обычный разговор о будущем Тима:

– Ведь ты уже не ребенок, Тим! Так и так пора тебе приниматься за какое-нибудь дело. А в конторе ты со своими способностями можешь разбогатеть! Ведь я тебе только добра желаю, мой мальчик! Ведь не о себе думаю, только о тебе!

– Не пойду я в контору, – резко ответил Тим. – Я хочу отправиться в плавание!

Мачеха сперва рассердилась, потом разъярилась, а под конец расстроилась. Как всегда, она стала плакать и кричать, что он хочет ее покинуть, чтобы на

старости лет она осталась без гроша в кармане и пошла просить милостыню. Хочет бросить ее и своего брата Эрвина на произвол судьбы, а сам стать богачом. Да и вообще он ничуть не привязан к своей семье! Даже никогда не улыбнется!

Последнее замечание задело Тима куда больше, чем могла подозревать мачеха. Кровь бросилась ему в лицо. Ему захотелось убежать сейчас же, сию же минуту! Но, с тех пор как он потерял свой смех, он приобрел самообладание, редкое и удивительное для мальчика этих лет. Он и на этот раз настолько овладел собой, что мачеха ничего не заметила, разве только что он покраснел.

– Дай мне в следующее воскресенье столько же денег, сколько тогда, в последний раз, – сказал он. – У меня, наверное, будет большой выигрыш.

И раньше, чем мачеха успела ответить, Тим выбежал из дому, помчался к реке, сел на уединенную скамейку на берегу и попытался справиться со своим волнением. Но это ему не удалось – он заплакал. Он не хотел плакать и боролся с собой, но рыдал все горше и горше, пока наконец не дал полную волю своему отчаянию. Когда же рыдания начали стихать, а слезы иссякли, Тим начал трезво и хладнокровно обдумывать свое будущее.

Он решил, что в следующее воскресенье снова поставит на какую-нибудь захудалую лошадь и выиграет много денег. Все деньги он отдаст мачехе, а сам просто убежит, бросив ее и Эрвина. Может, найметя юнгой на какой-нибудь корабль, может, еще кем-нибудь. Насчет денег ему беспокоиться нечего. Играть на скачках можно везде. А от богатства – теперь-то

уж он знал это наверняка – все равно никакой радости. Он отдал свой смех за то, что ему вовсе не нужно.

И тут же на берегу Тим принял еще более важное решение; во что бы то ни стало он вернет свой смех! Он отправится за ним в погоню и разыщет господина Треча, где бы тот ни скрывался, хоть на краю света.

Как было бы хорошо, если б в целом мире нашелся какой-нибудь человек – пусть хоть пьяный кучер или полоумный бродяга, – с которым Тим мог бы поделиться своим решением! Самые сложные вещи иной раз становятся простыми, когда поговоришь о них с кем-нибудь. Но Тиму нельзя было ни с кем говорить об этом. Он должен был замкнуться в своей тайне, как улитка в раковине. Сложенный вчетверо листок бумаги, лежавший теперь вместе с деньгами в больших старинных часах, сделал его самым одиноким мальчиком на земле.

Тим стал думать об отце и о деньгах, скопленных на мраморную плиту. И он решил еще вот что: прежде чем навсегда покинуть город, он поставит плиту на могилу отца. Он понимал, что это будет не так-то просто, но твердо надеялся преодолеть любые трудности.

Теперь он спокойно поднялся со скамьи: у него был план; оставалось только привести его в исполнение. И план этот придавал ему сил...

Если вам захочется узнать, как дальше развивались события в повести и сможет ли Тим Талер вернуть свой смех, прочитайте повесть Джеймса Крюса полностью.

## Содержание

Повесть как эпический жанр	
<i>М. Горький. Детство (избранные главы)</i> . . . . .	3
Из зарубежной литературы	
<i>М. Твен. Принц и нищий (главы из повести)</i> . . . . .	52
<i>Дж. Лондон. На берегах Сакраменто</i> . . . . .	82
<i>Дж. Крюс. Тим Талер, или Проданный смех (отрывок)</i>	95

*Учебное издание*

Школьная программа

**Русская литература**

**6 класс**

**Книга для чтения**

*Пособие для учащихся  
учреждений общего среднего образования  
с белорусским и русским языками обучения*

**В 2 частях**

**Часть II**

Составитель **Волосюк Ольга Ивановна**

Ответственный за выпуск *Т.В. Апарович*

Компьютерная верстка *И.В. Уткина*

Подписано в печать 05.08.2013. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага офсетная. Гарнитура SchoolBook. Печать офсетная. Усл.печ л. 8,37.

Уч.-изд. л. 4,39. Тираж 3100 экз. Заказ

ООО «Сэр-Вит». ЛИ № 02330/0494356 от 01.04.2009.

Ул. Гурского, 30, каб. 31, 34, 220015, Минск.

Тел./факс: (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83. E-mail: ser-vit@mail.ru

Производство № 1 Республиканского унитарного предприятия

«Издательство “Белорусский Дом печати”»

ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г. по 30.04.2014 г.

Республика Беларусь, 220010, г. Минск, ул. Мясникова, 37.